

Фредерик Марриет

Морской офицер Франк

Мильдмей



Фредерик Марриет

Морской офицер

Франк Мильдмей

«Public Domain»

1829

Марриет Ф.

Морской офицер Франк Мильдмей / Ф. Марриет — «Public Domain», 1829

Капитан Марриэт (псевд. Фредерика Марриэта, 1792–1848 гг.) получил известность как автор так называемого морского романа. Марриэт был моряком, участвовал в сражениях, прекрасно знал морской быт. Роман «Морской офицер Франк Мильдмей», вышедший в свет в 1829 г., стал первым литературным опытом автора. Герой романа поступает на флот и проходит все стадии морской службы, сопровождающейся необычайными приключениями. В романе живо и интересно описаны порядки морской жизни, нравы судовой команды и ее главных представителей. В нем удачно соединены достоверность и увлекательный романтический вымысел.

Содержание

Глава I	6
Глава II	13
Глава III	25
Глава IV	31
Глава V	40
Глава VI	48
Глава VII	53
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Капитан Марриет Морской офицер Франк Мильдмей

* * *

Глава I

Вот ошибки и вот плоды плохого пользования первыми днями нашей молодости в училищах и университетах, где мы часто научаемся одним только словам или преимущественно таким вещам, которых было бы лучше никогда не знать.

Мильтон.

Отец мой был джентльмен и человек с порядочным состоянием. В детские годы я был слабого сложения и хворый; но родители любили меня более прочих моих братьев и сестер; они видели, что мои духовные способности берут верх над болезненным сложением, и боялись, что никогда не доведут меня до возмужалости; однако ж я, против их ожиданий, преодолел все эти предзнаменования жалкой моей будущности и обращал на себя большое внимание своею живостью, бойкими ответами и смелостью, – качествами, которые весьма пригодились мне впоследствии на поприще жизни.

Припоминаю себя также, что я был труслив и хвастлив; но я очень часто замечал, что то, что называют трусостью в ребенке, означает только в нем более чуткое сознание опасности и следовательно есть доказательство его здравых понятий. Все мы от природы трусливы: воспитание и опытность научают нас различать действительную опасность от кажущейся; гордость научает скрывать страх, а привычка делает нас равнодушными к тому, от чего мы прежде часто убегали безнаказанно. Каждый из нас должен изучать свое ремесло, состоит ли оно в том, чтобы хладнокровно подставлять свою грудь неприятелю или смиренно тачать сапоги: один навык может сделать Гобия¹ или Веллингтона.

Перейду к дням пребывания моего в училище, когда мы получаем самые сильные впечатления. Попечения превосходных родителей положили во мне основания нравственных и религиозных правил. Но, увы! С тех пор как я оставил родительский дом, ни один камень не был прибавлен к этому основанию, и даже следы бывших трудов погрязли в потоке пороков, которые грозили мне в скором времени совершенным владычеством надо мной. Случалось, иногда, что я старался сдерживать их, но сопротивление было слабо и безуспешно; иногда же я чувствовал, как уносился всей их губительной быстротою. Я был откровенен, щедр, проворен и злобен; и должен сознаться, что то, что моряки называют devil «черт» проявилось во мне в высшей степени и еще гораздо больше того скрывалось в груди моей и в мозгу. Управлявшая мною страсть, даже и в те ранние годы моей жизни, была – гордость. Сам Люцифер, если когда-нибудь он достигал семилетнего возраста, не имел ее больше, чем я. Если я приобрел на службе доброе имя, если я начальствовал, вместо того, чтобы подчиняться, то все это надо приписать одной управлявшей мною страсти. Другие часто полагали, что поступки мои происходили от гораздо лучших побуждений, но я не хочу теперь скрывать истины.

Меня отправили в училище для обучения греческому и латинскому языкам, которое достигается различными путями. Иные наставники следуют правилу *suaviter in modo*; но мой учитель предпочитал *fortiter in re* и, как говаривал наш боцман, «подстрекательством» суковатой палки вбивал в наши головы познания точно так, как конопатчик вколачивает пеньку в корабельные пазы. Под руководством такого наставника мы делали удивительные успехи; и сколько бы я их ни сделал и даже таких, которых надобно было наименее желать, мой отец не имел причины жаловаться на недостаток моего знания классиков. Так как мои способности были несравненно лучше, чем у большей части моих соучеников, то я редко принимал на себя труд учить урок до начала класса, и поэтому «учительское благословение», как мы назы-

¹ Известный лондонский сапожник (Прим. пер.)

вали его, часто снисходило на мою смиренную голову; но я считал это безделицей, ибо был в меру горд, чтобы пребывать в мире с равными себе, и достаточно ленив, чтобы не заниматься усерднее.

Если бы мой учитель был человек одинокий, время пребывания моего на его попечении могло бы принести мне пользу; но, по несчастью, как для него так и для меня, он имел сожительницу, и ее пагубные слабости ниспровергали те нравственные правила, о сохранении которых она обязана была прилагать неусыпное попечение. Эти господствовавшие у нее слабости были: недоверчивость и скупость, резко изображавшиеся в ее пронизательных глазах и на остроконечном носе. Она никогда не считала нас в состоянии говорить правду, и поэтому мы никогда не старались идти по стезе бесполезной добродетели, и изредка тогда только прибегали к ней, когда она была для нас выгоднее лжи. Эта слабость мистрис Гиггинботтом обратила наши искренность и честность в лукавство и обман. Так как нам никогда не верили, мы мало заботились о точности наших оправданий; а полусытый стол, плод ее умеренности и высокой экономии, заставлял нас предпринимать всевозможные средства и пути для удовлетворения вечного голода. Таким образом, в скором времени мы сделались столь же сведущими адептами в приятных искусствах обмана и воровства, под ее надзором, сколько успели в греческом и латинском языках под надзором ее супруга.

Обширный фруктовый сад, поля, огород и птичий двор, принадлежавшие к дому, были в ведении хозяйки, и она обыкновенно выбирала одного из учеников в свои первые министры и тайные советники. Этому мальчику, за воспитание которого родители платили шестьдесят или восемьдесят фунтов стерлингов в год, позволялось проводить время в собирании фруктов, обитых ветром, в присматривании за курицами и доставлении яиц, когда их кудахтанье возвестит о счастливом разрешении от бремени, в присмотре за стадами утят и цыплят и т. д., — одним словом, в исполнении должности, как говорится, человека на все руки. Предоставляю самому читателю заключить, как далеко должна была простираться благодарность родителей за такое распоряжение их чадами, но нам, которые предпочитали физические упражнения и всякое другое образование образованию ума, оно чрезвычайно нравилось. Поэтому ни одно из мест, раздаваемых правительством, никогда не было предметом стольких домогательств и интриг, как для нас, школьников, должность собирателя и опекуна яиц и яблок.

Я имел счастье быть весьма скоро избранным на это важное место и несчастье потерять его также скоро, благодаря проискам и зависти товарищей, и подозрениям моего начальства. Поступивши в должность, я дал себе слово непременно действовать честно и неусыпно; но что значат хорошие намерения, когда с одной стороны, они ослабляются укоризнами недоверчивости, а с другой — должны противостоять натискам сильного аппетита? Утренний сбор отбился от меня до последнего ореха, и жадные глаза моей начальницы, казалось, спрашивали еще более. Напрасные подозрения сделали меня виновным из мщения; кончилось тем, что я был пойман и сменен. На место мое назначили другого, которому я сдал на законном основании все части, вверенные моему управлению, и после того, оставшись совершенно на досуге, занялся составлением планов, для ниспровержения его.

Мне известна было тогда математическая аксиома, хотя и ее не было у Евклида, что в отверстие, в которое можно просунуть голову, пройдет и все туловище. Чтоб проверить этот постулат на самом деле, я просунул свою голову в полукруглое отверстие над дверью курятника и, отковырявши засохшую там грязь, наконец, совсем пролез и весьма скоро переложил все яйца в свой сундук. Новый надзиратель, пришедший туда, нашел только одни смиренно стоящие пустые коробки, и розыски его в саду и огородах равно были бесплодны. Всем краденым мною из сада и огорода я пользовался как собственностью; когда же накопил столько яиц, что можно было наполнить ими корзинку, я объявил о мнимом моем открытии хозяйке, которая, полагая, что сменила меня не на лучшего, отрешила от должности моего преемника и опять облекла меня своим доверием. Итак, я, подобно многим великим людям, опять возведен был

на прежнее место, когда нашли, что не могут без меня обойтись. Мне суждено было еще раз сделаться канцлером насеста и смотрителем сада, с гораздо большею властью, нежели какую я имел до первого моего падения. Если бы моя начальница смотрела мне в лицо в половину так, как смотрела на шляпу, полную яиц, она, наверное, прочитала бы на нем мое плутовство, потому что в том простодушном возрасте я мог краснеть – привычка, давно уже потерянная на поприще моей службы.

Чтобы поддерживать доверенность и обеспечить себя на этом месте, я перестал довольствоваться одними обиваемыми ветром фруктами, но сам помогал природе в ее трудах и чрезвычайно облегчал ветви многих деревьев, обремененных плодами. Такими уловками я не только удовлетворял скупость моей хозяйки за ее же собственный счет, но мог также скопить запасец и для себя. Занявши во второй раз должность по этому хозяйственному департаменту, я имел обыкновенно в своей конторке с избытком все для удовлетворения насущных нужд, а своею умеренностью и благоразумной осторожностью умел усыпить недоверчивость хозяев и смело шел против оппозиции. Нет сомнения, что мальчик с такою сметливостью, как моя, не упускал из вида ни одной технической уловки, принадлежащей к науке обмана; и потому все плоды, предоставлявшиеся к отчету, были всегда с одной стороны запачканы землею, чтобы дать им вид упавших сами собою. Таким образом, в течение нескольких месяцев я сделался профессором порока, благодаря распорядительности тех, кому поручили меня для приращення правил веры и добродетели.

К счастью моему и моего воспитания, я недолго пользовался удачею исправлять эту почетную и доходную должность. Одно из тех жалких существ, которых называют «учительский подмастерье», то есть помощник нашего учителя, заглянул в мой сундук и, дабы заслужить расположение хозяйки и учеников, немедленно донес на меня высшей власти. Доказательства были слишком явны, и преступление слишком велико, чтобы ожидать прощения; в полчаса меня исследовали, уличили, осудили, приговорили, высекли и сменили; а преступление мое в этот раз показалось таким позорным, что меня нашли решительно неспособным впредь занимать эту или другую какую-либо должность по части заведования садом и вообще хозяйством; меня поставили последним в списке и объявили самым негодным мальчишкой из всего училища.

Последний приговор во многих отношениях был справедлив; но между нами находился еще один, который не уступал мне и мог поспорить со мной в количестве подобных шалостей; это был Том Крафорд, сделавшийся с того дня искренним моим приятелем. Том был весьма неглупый малый, на все готовый; любил делать пакости, хотя не был порочен, рад был идти со мной в огонь и в воду, и, правду сказать, я не оставлял его без дела. Я сбросил с себя личину, смеялся над всеми принимаемыми против меня мерами, считая их бесполезными и только клонящимися к одному унижению и осмеянию меня перед товарищами. В этом случае я последовал правилу одного великого человека: «лучше быть чем есть, нежели только казаться». Я пускался на все тяжкие: вел войну со всеми полускромниками и смиренниками, воровал из сада, огорода, птичьего двора все съестное, будучи совершенно уверен, что кто бы то ни сделал, подозрение все равно падет на меня. Зато уж с того времени все недочеты в саду, все стрелы, пущенные в свиней, все окошки, выбитые камнями, или грязь, которою обрызгано было чистое белье, вывешенное для просушки, все эти проказы прямо ложились на голову мою и Тома; и так как самовластное управление обыкновенно не терпит отлагательства, то промежуток между подозрением и наказанием был весьма краток: нас беспрестанно приводили к учителю, и он каждый раз ниспосылал на нас «свое благословение» и тем довел до того, что мы одеревенели и перестали краснеть и стыдиться.

Таким образом, скупость этой женщины и глупость учителя, который, за вычетом знания греческого и латинского языков, был чистый осел, почти с корнем вырвали мои добрые правила и посеяли на место их плевелы, в скором времени доставившие обильную жатву.

В нашем училище был молодой человек, лет девятнадцати, недавно привезенный из Ост-Индии. Мы прозвали его Джонни Пагода. Он отличался только своим ничтожеством, смелостью, большой телесной силой и, как мы еще полагали, упорною решительностью. Однажды он навлек на себя гнев учителя, который, рассердившись на него за тупость и невнимание, ударил его по голове своей суковатой палкой. Это внушение, хотя и обращенное на наименее чувствительную часть его тела, побороло, однако ж, всегдашнюю бесчувственность ленивого азиата. В мгновение ока оружие было выхвачено и обращено на голову удивленного педагога, который, увидя себя так неожиданно в критическом положении, подал сигнал о помощи. Я хлопал в ладоши, крича: «Браво! Продолжай, Джонни, бей его, бей коли уж начал, – семь бед, один ответ; ведь все равно повесят, что за овцу, что за ягненка!» Но тут начали собираться учительские помощники; ученики попятнулись назад, и Пагода, не зная, чью сторону примет это подкрепление, положил оружие и сдался на капитуляцию.

Если бы индеец продолжал защищаться, поражая наставническую голову, у нас наверное последовало бы народное восстание, подобное восстанию Мазаньелло; но на это, видно, время еще не пришло. Индус спустил флаг, был осмеян, высечен и отослан к своим, которые прочили его на адвокатскую кафедру, но, предвидя, что будущие обстоятельства могли быть, пожалуй, такого рода, что вместо судьбы ему придется разыграть из себя лицо, предстоящее перед ним, отдали его во флот, где его отвлага, если он только имел какую-нибудь, могла быть применена с гораздо большей пользой.

Этот безуспешный подвиг молодого азиата был главной причиной всей моей славы и известности в последующей жизни. Я всегда ненавидел училища, а наше более прочих казалось мне ненавистным. Освобождение Джонни Пагоды подало мне мысль, что и мое избавление может быть сделано таким же образом. Стопин был проведен, и искра зажгла его; она брошена была глупостью и тщеславием дородного француза, нашего танцевального учителя. Эти французы бывают всегда главною причиной несчастий. Мистрисс Гиггинботтом, сожительница учителя, рекомендовала меня господину Аристиду Морблэ, как *mauvais sujet*; а он, будучи во всем ее покорным слугой, часто угнетал меня из угождения к своей покровительнице. Этому человеку было в то время около сорока пяти лет, и он под конец имел гораздо более опытности, нежели проворства, отrostивши себе огромное брюхо английским ростбифом и элем; но когда он показывал нам ригодоны своего собственного отечества, тщеславие заставляло его предпринимать выходки, совсем несоответственные обременительной тяжести его тела. Я вступил с ним в состязание и наказывал его собственным его ремеслом; а он бил меня скрипичным смычком, который, наконец, и переломил пополам на моей голове; потом, сделавши еще раз достохвальное усилие, чтобы показать, что он не побежден, переломил себе Ахиллово сухожилие и как танцевальный учитель выбыл из строя. Его отправили домой для пользования, а меня отвели в класс, чтобы высечь.

Такой поступок со мной я считал столь несправедливым, что убежал из училища. Том Крафорд пособил мне перелезть через стену, и когда по его расчету я должен был быть уже далеко и вне опасности от погони, он дал обо мне знать, дабы самому избежать подозрения в участии. Проплывши с милю, – чтобы выразиться по морскому, – я лег в дрейф и начал составлять в уме своем речь, которую намерен был произнести перед своим отцом в оправдание внезапного и неожиданного прибытия, но был взят в плен ненавистным учительским помощником и полудюжиною старших учеников, в числе коих находился и Том Крафорд. Подошедши ко мне сзади, когда я сидел на изгороди поля, они прервали мои мысли ударом по плечу, схватили за ворот и повели обратно удвоенным шагом. Том Крафорд был один из державших меня, и превзошел себя, ревностно проповедуя мне о моей низкой неблагодарности, выказанной этим побегом от лучшего из учителей и от самой ласковой, нежной и матерински попечительной из всех пансионных дам.

Учительский помощник поглощал все эти слова; но в скором времени я заставил его проглотить еще гораздо более. Мы проходили мимо пруда, в котором я хорошо знал все глубокие места. Я посмотрел краем глаза на Тома, давая ему знать, чтобы он пустил меня, и, как макрель, выскочившая из рук рыбака, бросился в воду, дошел по пояс, и потом оборотился посмотреть на мой конвой, стоявший у пруда, выпуча на меня глаза. Помощник, подобно негодной дворовой собаке, которая, если увидит, что не может более грызться, начинает ласкаться, просил и умолял меня подумать о «моем папеньке и маменьке, о том, как жестоко огорчило бы их, если бы они увидели меня, и о том, как я сам увеличиваю свое наказание таким сопротивлением». Он посылал мне попеременно то ласки, то угрозы, одним словом все, кроме обещания прощения, на которое, по-моему, я имел полное право, будучи вынужден к этой непокорности самым жестоким притеснением.

Так как убеждения его не подействовали, и не нашлось ни одного охотника идти и вытаскивать меня из воды, то бедный учитель, несмотря на всю неохоту, принужден был сам взяться за это. Снявши башмаки и чулки и заворотивши брюки, он ступил в воду сначала одною ногою, потом другою; холодная дрожь проняла его до зубов, и он начал ими щелкать, наконец, переступая осторожно, он дошел до меня. Находясь уже в воде, мне ничего не стоило сделать два шага лишних, в особенности, когда я знал, что за все это только «мои лядвеза зело наполнятся поруганием», в чем, впрочем, был совершенно уверен при всяком со мной происшествии; поэтому я решился отомстить за себя и позабавиться. Я начал отступать; он следовал за мной, и только что хотел схватить меня, как вдруг попал в яму и погрузился с головою. Я сам был тогда на глубоком месте, но плавал как утка, и лишь только он приподнялся, я стал ему коленями на плечи, а руками схватился за его голову и отправил в другой раз покупаться под водой, удерживая его там до тех пор, покуда он не выпил воды больше любой лошади, подходившей к этому пруду за время его существования. Тогда, оставив его выбираться из воды как знает, я сам ус тупил сильному холоду и просьбам Тома и других бывших с ним учеников, помиравших со смеху над бедствием несчастного помощника, оставленного на произвол.

Напроказивши, как мне хотелось, я вышел из воды и добровольно сдался моим неприятелям, от которых получил такую же пощадку, какую мог ожидать русский от турка. С меня струилась вода, и я, запачканный грязью, озябший, был во-первых представлен в таком положении ученикам, как образец всего худшего в мире; потом им была прочитана лекция о важности моего проступка, и, наконец, речь эта заключалась торжественным объявлением будущей моей участи. Лихорадочная дрожь, произведенная холодною ванной, была прекращена ударами розог, которых отпустили мне столько, сколько было возможно, ибо два учительские помощника держали меня; но никакие их усилия не могли вызвать у меня ни одного стога или всхлипывания; зубы мои были стиснуты жаждой непереносимого мщения, и это чувство сжигало всю мою внутренность. Наказание, хотя чрезвычайно жестокое, имело, однако ж, хорошее последствие: – оно привело в прежний порядок мою почти застывшую кровь; и я в особенности советую употреблять это средство со всеми молодыми дамами и мужчинами, которых обманутая любовь, или другие подобные маловажные причины заставят броситься в воду. Если бы несчастному помощнику прописали этот же рецепт, он может быть избавился бы от простудной лихорадки, едва не приговорившей его к путешествию на кладбище, чтобы, вероятно, быть оттуда украденным и появиться в операционном театре госпиталя св. Бартоломея, для анатомических лекций.

Вскоре после этого Джонни Пагода, два года уже служивший во флоте, завернул в наше училище для свидания со своим братом и прежними товарищами. Я заставил его рассказывать все, что он знал о своей службе; он никогда не обманывал меня и ничего от меня не скрывал, и поэтому ясно и безостановочно отвечал мне на все мои вопросы. Он уже довольно насмотрелся на мичманскую жизнь, чтобы увериться, что кубрик не рай. Я узнал, что на корабле не было учителя, и что мичману шла чарка вина каждый день. Военное судно и виселица, как говорится

у нас в Англии, ни от кого не отказываются; и так как последние происшествия родили и во мне какое-то сильное предчувствие, что, если я не пойду добровольно на одно, то вероятно принужден буду идти на другое, поэтому из двух предстоявших мне зол я выбрал меньшее и, решившись вступить на блистательное поприще морской службы, вскоре сообщил мое желание родителям.

С той минуты, как эта мысль поселилась в моей голове, я не думал больше о том, что делаю, в надежде заставить этим исключить себя из училища. Я писал ругательные письма, был главою возмущений, составлял с другими учениками заговор топить, жечь, разорять и делать все возможное зло. Том Крафорд нянчил однажды хозяйского ребенка, которому было два года. Том нечаянно уронил его, но бедное дитя осталось изувеченным на всю свою жизнь. Этот случай при других обстоятельствах заставил бы нас самих пожалеть ребенка, но тогда был нам почти забавой.

Жестокое обращение со мной этих людей до того понизило мою нравственность, что те страсти, которые при обращении разумном и нежном, никогда не были мне известны или оставались бы спящими, теперь восстали во всей своей убийственной деятельности. Я поступил в училище мальчиком с добрым сердцем, а оставлял его дикарем. Происшествие с ребенком случилось за два дня до начала каникул; но по этому случаю мы все были распущены на следующий день. Возвратившись домой, я словесно передал батюшке с матушкой мое намерение поступить в морскую службу, о котором извещал прежде письмом. Матушка плакала, а батюшка разубеждал меня. Я равнодушно посматривал на одну, и с хладнокровием выслушивал доводы и рассуждения другого. Мне предлагали избрать любое училище и быть в нем на особом содержании, а потом окончить курс в университете, если я только оставлю свое безрассудное намерение. Однако ж, ничто не могло отклонить меня; жребий был брошен, и меня стали готовить к отправлению на службу.

Отец мой сыскал для меня место на одном прекрасном фрегате в Плимуте, и время между определением моим в мичманы и поступлением на фрегат протекло в получении советов от родителей и заказывании разным мастерам всего, что было нужно для меня. Огромный сундук, шпага, треугольная шляпа, полусапожки, все это заказывалось одно за другим, и изготовления каждой вещи, служившей к украшению или к пользе, я ожидал с таким нетерпением, которое можно было только сравнить с нетерпением команды судна, подошедшего к Англии после трехлетнего пребывания в Индии. Отправление меня на море подействовало на отца моего только в том отношении, что жестокая горесть моей матери нарушила несколько безмятежность домашней его жизни, его комфорт; во всяком же другом отношении мой выбор будущего поприща не породил в нем никакого сожаления. Я имел старшего брата, который должен был наследовать все достояние нашей семьи, и который тогда учился в Оксфорде, чтобы получить воспитание, приличное его положению в свете, и научиться тратить деньги, как прилично джентльмену. В таком случае младшие братья, в особенности же еще с таким беспокойным духом, как я, бывают совсем устранимы, что и хорошо и справедливо. Отец мой с философским спокойствием заплатил все счета и по моим летам дал мне достаточно денег.

Час моего отъезда приблизился; сундук был отправлен с плимутской фурой, и наемная карета подъехала к крыльцу, чтобы свезти меня в Уайт-Горс-Целлар. Раздавшийся стук откинутой ступеньки лишил мою несравненную мать всей ее твердости, с какою она собиралась перенести разлуку, и она в отчаянной горести, обвила руками мою шею. Я смотрел на ее движения с неподвижностью статуи на носу корабля; а она между тем покрывала поцелуями мою стоическую физиономию и омывала ее слезами. Я почти удивлялся, что все это значит, и желал скорейшего окончания этой сцены.

Отец мой помог мне в этом замешательстве, твердо взяв меня за руку и выведя из комнаты; тут мать моя упала на софу, закрыв лицо носовым платком. Я пошел за отцом так тихо, как только приличие могло мне тогда позволить; а он смотрел на меня так, как бы хотел про-

читать в глубине души моей: – имею ли я в самом деле человеческие чувства? Даже в том нежном возрасте я уже заставлял сомневаться в них, но, однако, настолько понимал приличия, что выжал у себя из каждого глаза по слезе, которые, я надеюсь, были тогда весьма кстати. Мы же говорим у себя на море: «Коли нет чувства, так притворись немного»; а я совершенно уверен, что состояние моих чувств в то время было такого рода, что я смотрел бы на самого близкого мне человека, лежащего в гробу, с гораздо меньшим сожалением, нежели на исчезновение из моего воображения, приятных и разнообразных сцен, которые я ожидал встретить в будущем.

Как часто приходила мне на ум такая бесчувственность к моей нежнейшей матери, и как жестоко был я потом за это наказан в разных случаях моей скитальческой жизни!

Глава II

Обиды могут быть удовлетворены и забыты; но оскорбления никогда не прощаются. Они наносят бесчестье и заставляют платить за себя мщением.

Юниус.

В нашей жизни бывают некоторые случаи, прекрасно и поэтически описанные Муром, как «места зеленой муравы на пустыне памяти». Сюда принадлежат удовольствия, рождаемые достижением какой-нибудь цели, обладанием предметом любви или честолюбия после долгих исканий; и хотя обладание этим предметом и последующие затем обстоятельства могут показать нам, что полученное нами наслаждение не так велико, как мы его представляли, а опыт убедить нас, что «все на свете суета», однако ж, мы водворяем воспоминание в нашем сердце, и оно с удовольствием бьется сильнее, обращаясь к былому и к кар тике, которую рисовали в ярких и исполненных прелести красках наши молодые, кипучие надежды. Одна молодость вполне доступна таким удовольствиям; возмужалый возраст бывает уже слишком много разочарован и очень часто заражает наслаждение ядом своего опыта; а старик недоверчивым глазом смотрит вперед и со скорбью и сожалением на прошедшее.

Один из красных дней моей жизни был тот, в который я в первый раз надел мичманский мундир. Гордость моя и восторг были выше всякого описания. Я простился, наконец, с училищем и курткой ученика, а вместе с ними и с почти остановившимся моим существованием. Подобно куколке, обратившейся в бабочку, я распрямил крылья, как бы желая испытать свои новые силы; я чувствовал себя веселым, обновленным созиданием, получившим свободу носиться над пространством царством природы. Сердце мое трепетало вместе со мной при мысли, что я могу располагать собою по собственному произволу. Поэтому нельзя сказать, чтобы я не наслаждался в дни моей молодости. Я был некоторое время счастлив, если только то состояние можно назвать счастливым; но мне дорого пришлось платить за него. Я остался должным самому себе, и с тех пор, будучи принужден выплачивать этот долг мало-помалу, еще и теперь не совсем с ним расплатился. Я не избежал встречи с теми огорчениями и неудачами, которые обыкновенно сопровождают нас, и даже та крупница благополучия, которая досталась на мою долю в это незабвенное утро, была недолговременна, и печаль немедленно последовала за нею.

Но возвратимся к моей форме. Я оделся в нее и сам привел ее на себе в порядок; портупья, на которой висел кортик, повязана была вокруг мундира; треугольная шляпа огромной величины красовалась на моей голове; и когда я сделал себе последний осмотр в зеркало и остался совершенно доволен своей наружностью, то, во-первых, позвонил служанке, под предлогом приказать ей убрать комнату, но на самом деле собственно для того, чтобы она полюбовалась бы и похвалила бы меня; и надобно отдать справедливость ее благоразумию, — она не замедлила своими похвалами; а я, напротив того, был так прост, что дал ей за это полкроны и поцелуй, ибо считал себя уже совершенным человеком. Трактирный слуга, которому служанка, вероятно, передала это обстоятельство, также явился, и низко поклонившись, сделал те же приветствия и получил ту же награду, кроме поцелуя. Без сомнения и дворник получил бы свою долю, если бы только подоспел под эту щедрую руку; ибо я был тогда столь прост, что принимал все их сладкие речи, как будто должное, и платил за них чистыми деньгами. Меня в то время можно было сравнить с писарем, а их со жуками; и наверное очень скоро набралось бы еще более этих шук вокруг меня, потому что я слышал как они, вышедши из моей комнаты, кричали: «дворник, кучер», конечно, призывая их на помощь для облегчения моего кошелька.

Мне с нетерпением хотелось представиться капитану, и увидеть свой фрегат; поэтому, сбегавши с шумом с лестницы, я во мгновение ока был уже на дороге в трактир Стонгауз, и тут гордость моя получила вторичную себе дань от неуклюжего матроса-рекрута, приложившего руку к фуражке, когда я проходил мимо него. Я понял, что это значит, приподнял свою шляпу и прошел мимо него весьма важно. Признаюсь, одно замечание убивало меня, это то, что коренные жители города, казалось, и в половину не удивлялись мне столько, сколько я сам себе удивлялся. Я никак не полагал тогда, чтобы в Плимуте было такое множество мичманов.

К счастью моему, есть на свете известный класс людей, которых молитвы никогда не бывают услышаны; иначе бы я должен был попасть в такое местечко, из которого, право, никакие силы не могли бы меня освободить.

Я, подобно Улису, едва не сделался жертвою новейшего Полифема, который, хотя и не имел одного глаза во лбу, как изображает нам мифология, но лучи обоих его глаз, соединившись на конце длинного носа, делали его весьма на то похожим. Неведение, одно простодушное неведение, как в этом, так и во многих других случаях, было причиной моего несчастья. Несколько офицеров в парадных мундирах шли из военного суда. – «Ого! – сказал я сам себе, – вот идет несколько нашей братии». Увидевши, как они держали сабли, я сам взял кортик в левую руку, а правую засунул за пазуху, точно так, как сделали некоторые из них. Я старался подражать им в походке и принять всю офицерскую статью; установил треугольную свою шляпу на корму и на нос, отчего висячая золотая кисточка пришлась у меня между глаз, и заставляла непременно смотреть на себя так, что я принужден был косить глазами. Я поднял нос вверх, подобно морской свинке во время урагана, воображая, что был таким же предметом удивления для них, как для самого себя. Мы прошли противными галсами и скорость ходов разлучила уже нас на расстоянии двадцати или тридцати аршин, как один из них закричал мне голосом, очевидно осипшим на службе его величества:

– Эй, молодой человек, поди-ка сюда!

Я подумал, что меня наверное зовут, чтобы похвалить покрой моего платья, спросить имя портного, и ожидал слышать удивления моей шляпе, стоявшей петушиным гребнем. Я даже начал думать, что владельцы океана станут спорить между собою, к кому из них на судно поступить мне, как образцовому мичману, и готовил *уже* в уме своем извинения перед другом моего батюшки, что не поступил к нему на фрегат. Посудите же каково было мое удивление и огорчение, когда вместо всего этого, ко мне обратился сердитым и грозным голосом старший из офицеров:

– Послушайте, сэр, с какого вы судна?

– Я, – отвечал я с гордостью, – я с фрегата его величества The, Le... (так как судно имело французское имя, то я употребил оба члена, французский и английский, чтобы придать себе более веса).

– Ого, вон как! А, так ты на нем служишь? – возразил старый ветеран голосом сознаваемого превосходства. – Хорошо; так будь же теперь так добр и возвратись назад; спустись в Муттон-Ков, возьми шляпку и доставь свою особу как можно скорее на судно его величества «The, Le» (подражая мне) и передай старшему лейтенанту мое приказание не пускать тебя больше на берег, покуда фрегат будет находиться здесь на рейде; а я скажу твоему капитану, чтобы он учил своих подчиненных лучшему обращению и наблюдал, чтобы они не проходили мимо главного командира, не отдав ему чести.

По окончании этого приветствия, я очутился в кругу, которого сам был центром, а адмирал с капитанами составляли тесную его окружность. Тела их препятствовали свободному доступу ко мне небольшого количества заключавшегося в нем воздуха, так что я был не только как в бане, но и совершенно одурел.

– Итак, сэр, вы слышали, что я говорил? Идите же! «Да, я слышал, – подумал я, – но черт побери, как же мне от вас выбраться? – ибо бесчеловечные капитаны, подобно ученикам

вокруг мышеловки, так тесно обступили меня, что я не мог пошевелиться». По счастью, эта блокада, которую они без сомнения составили, чтобы посмеяться надо мной, спасла меня на тот раз. Я пришел немного в себя и сказал им, с притворной простотой; что только сегодня в первый раз надел мундир, что никогда не видел своего капитана и никогда еще в жизни не был на судне. После этого объяснения наружность адмирала изменилась, и на ней показалось что-то похожее на улыбку, а все капитаны громко засмеялись.

– Хорошо, молодой человек, – сказал адмирал, который был доброго сердца, хотя и странный, – хорошо, молодой человек. Так как ты еще никогда не был на море, то это несколько извиняет тебя, если ты не знаешь хорошего обращения; и так не передавай больше приказания моего старшему лейтенанту, но все-таки отправляйся на свой фрегат.

Капитаны, видя, что я был достаточно ими осмеян, раздались направо и налево, и позволили мне пройти. Уходя от них, я слышал, как один говорил:

– Этот зверек, уверяю вас, только что пойман; еще видны на нем следы собачьих зубов.

Я не остановился для возражения ему, но огорченный, повеся нос, спешил удалиться, и конечно, это первое приказание по службе исполнил с гораздо большей точностью, нежели какое-либо из всех полученных мною впоследствии.

В продолжение остальной части дороги до трактира я прикладывал руку ко шляпе всякому встречному. Я отдал честь одному мичману, штурманскому помощнику, солдатскому унтер-офицеру и двум капралам, и даже не подозревал об излишней своей вежливости, покуда одна молодая женщина, одетая как леди и более моего имевшая понятие о флоте, не спросила меня, не добиваюсь ли я места в парламенте? Не зная, что она под этим подразумевает, я отвечал: «Нет».

– А я думала, что вы ищете, – сказала она, – видя как вы вежливы с каждым.

Если бы не это дружеское напоминание, я не переставал бы думать, что должен прикладывать руку к шляпе и всякому барабанщику.

Прошедши через все эти трудности, я добрался, наконец, до трактира в Плимуте, где нашел моего капитана, и вручил ему письмо от батюшки. Он осмотрел меня с головы до ног и сказал, что желает иметь удовольствие обедать со мной в шесть часов.

– А так как теперь одиннадцать часов, – сказал он, – то вы отправьтесь сейчас на фрегат и явитесь к Гандстону, старшему лейтенанту, который прикажет занести в книгу ваше имя и потом позволит вам приехать к обеду.

Я поклонился и вышел. На пути в Муттон-Ков меня приветствовали какие-то женщины, называя Royal Reefer, Брамсельным мичманом и Сухарогрызком; но я ничего из этого не понял и не обратил внимания.

В Муттон-Ков я прибыл благополучно. Тут две женщины, видя меня в платье с иголки, с вопрошающим взором спросили, на какое судно угодно свезти «мою милость». Я сказал им имя судна, на которое мне надобно было ехать.

– Оно лежит под обелиском, – сказала женщина постарее, которой казалось лет сорок, – и мы свезем вашу милость за шиллинг.

Я согласился на эту плату, находя все это для себя новым и будучи не в состоянии не уступить своей врожденной любезности и любви к женскому обществу. Старуха была мастерица своего дела и управляла длинным веслом с большим проворством; но дочь ее, молоденькая Салли, еще не привыкла к этой работе. Салли была хорошенькая девушка, опрятно одетая, в белых чулочках, и выказывала свою чисто обутую маленькую ножку по косточку.

– Берегись, Салли, – сказала мать, – греби вместе, или ты поймешь рака.

– Не бойтесь, матушка, – отвечала самонадеянная Салли, и в это время, как будто бы предосторожность и была причиной несчастья, лопасть ее весла не погрузилась достаточно в воду, и оно, не встретя сопротивления, вырвалось из воды и толкнуло вальком в грудь бедную Салли; а так как она заносила его с большой силой, то опрокинуло ее назад. Голова ее упала

на дно шлюпки, а пятки торчали в воздухе и пришли в соприкосновение с кисточкой моей треугольной шляпы.

– Вот видишь, Салли, – сказала попечительная мать, – я говорила тебе, что это случится; я знала, что ты поймаешь рака.

Салли немедленно оправилась, немножко покраснела, и принялась опять за работу.

– Это называется по нашему ловить раков, – сказала старуха.

Я отвечал, что нахожу это прекрасным занятием, и просил Салли попробовать поймать еще одного; но она не согласилась, а между тем мы пристали к борту фрегата.

Расплатившись со своими наядами, я, по их совету, ухватился за фалреп и влез на борт. Меня встретили на шкафуте мичман в короткой курточке и брюках, в рубашке, не из числа самых чистых, и в черном шелковом платке, свободно накинутом на шею.

– Что вам угодно, сэр? – спросил он.

– Я хочу видеть мистера Гандстона, старшего лейтенанта, – отвечал я. Он сказал мне, что старший лейтенант спустился вниз писать письма; но когда выйдет наверх, он доложит ему обо мне.

После этого разговора, он оставил меня на левой стороне шканец размышлять.

Фрегат в то время исправлялся и был, как говорится, в портовых руках, в большом беспорядке и нечистоте. Шканечные каронады поворочены были по борту; платформы вынуты с мест; пазы на палубе только что залиты, и она покрыта смолой, а конопатчики сидели на своих ящиках, готовые опять начать шумную работу, как только отобедает команда; между тем на правой стороне шканец мичманы прикидывали меня на глаз и толковали между собой, не буду ли я их однокашником, и что такое я за человек, но оба эти вопроса разъяснились весьма скоро.

Старший лейтенант вышел наверх; вахтенный мичман представил ему меня, а я сказал ему свое имя и передал приказание капитана.

– Очень хорошо, сэр, – сказал Гандстон, – Флейбок, возьмите этого молодого человека в ваш стол; сведите его, пожалуйста, вниз и покажите ему, где он должен подвешивать свою койку.

Я спустился за своим новым приятелем на батарейную палубу, где, недалеко от шпиля, сидела женщина и продавала матросам хлеб, масло, селетки, вишни и сметану; возле нее стоял также бочонок с крепким пивом, на которое, казалось, было большое требование. Мы прошли мимо нее, спустились по другому трапу, пришли в жилую палубу, и тут-то, впереди офицерской кают-компании, на левой стороне против грот-мачты, было мое будущее маленькое логовище, которое называлось мичманской каютой; она была длиною в десять фут, шесть фут в ширину, и пять фут четыре дюйма высоты; четырехугольное отверстие, шириною дюймов в девять, очень скупо доставляло то, что для нас самое необходимое, то есть чистый воздух и дневной свет. Простой сосновый стол занимал весьма значительное пространство этой небольшой каюты; на нем стоял медный подсвечник с оплывшей свечой, у которой светильня походила на расцветшую гвоздичку. Разостланная скатерть с винными и сальными пятнами, равно как и грязная мичманская рубаха, очевидно, показывали скорое приближение воскресенья. Запачканный вестовой прислуживал за обедом, и мне указали место, которое я должен занять.

«Праведное Небо, – подумал я, пролезая между корабельным бортом и столом, – и это мое будущее местопребывание? Лучше опять в училище; там, по крайней мере, хоть свежий воздух и чистое белье».

Я описал бы эту минуту моей несравненной, горюющей матери, чтобы сказать ей, с каким восторгом ее недостойный сын полетел бы обратно в ее объятия; но во-первых, гордость, а во-вторых, недостаток письменных материалов, не позволили мне этого исполнить. Севши за стол на показанное место, я призвал всю свою философию, и для развлечения привел себе на память слова Жиль Блаза, когда он очутился в разбойничьей пещере: «... таким-то образом, достойный племянник дяди моего Жилия Перца пойман был, как мыш».

Большая часть членов этого общества была в отлучке по службе; вся палуба завалена была бочками, ящиками и койками; стук конопатчиков раздавался над моей головой и вокруг меня. Дурной запах от воды, соединенный с табачным дымом; дух от джина и пива, жарившихся бифштеков с луком и красных селедок, давление густой атмосферы, и дождик, как из ведра, – все соединилось, чтобы отуманить меня и обратить в самое жалкое создание на свете. Я почти готов был предаться отчаянию, но тут вспомнил о приглашении капитана, и сказал о том Флейбоку.

– Хорошо, что ты вспомнил, – сказал он. – Мурфи также у него обедает; вы можете ехать оба вместе; и смею сказать, он будет рад вашему обществу.

Капитан редко ожидает мичмана, и потому мы взяли предосторожность не заставить его ждать нас. Обед во всех отношениях был «служебный». В таком случае капитан обыкновенно говорил очень много, лейтенанты весьма мало, а мичманы совсем ничего; но действия ножами, вилками и рюмками (сколько позволено ими действовать) бывают совершенно в обратном соотношении. Общество состояло из моего капитана, двух других, нашего старшего лейтенанта, Мурфи и меня.

Когда убрали со стола скатерть, капитан налил мне рюмку вина, попросил, чтобы я ее выпил и потом пошел посмотреть, какой был ветер. Я понял это поручение буквально; но, не имея почти никакого понятия о румбах компаса, признаюсь, пришел в замешательство, каким образом мне его исполнить. По счастью, на шпице старой церкви был флюгер, изображавший петуха, с четырьмя буквами под низом, которые, я знал, что означают главные румбы. Мне показалось, что флюгарка смотрит прямо на одну из этих букв, означающую ветер западный; посему я немедленно возвратился доложить о том капитану, нисколько не гордясь успешным исполнением приказания в такое короткое время. Но каково ж было мое удивление, когда меня не только не поблагодарили за это беспокойство, но, напротив того, все присутствовавшие еще улыбнулись и посмотрели друг на друга; а старший лейтенант кивнул головой и сказал:

– Не западный, а скорее простофиля.

Наконец, капитан, следуя нравам и обычаям, употребляемым в подобных случаях на море, решил это дело.

– На, молодой человек, – сказал он, – вот тебе еще рюмка вина, выпей ее, а там Мурфи расскажет тебе, что я разумел.

Мурфи был моим чичероне; он выпил свою рюмку вина – или скорее опрокинул ее в горло, поставил ее, сильно ударив о стол и, поклонившись, вышел из комнаты.

Вышедши в коридор, мы с ним начали разыгрывать следующий дуэт:

– Кой черт принес тебя назад, проклятый простофиля? Разве ты не мог догадаться, что капитан хотел тебя совсем выпроводить? Вот то-то, поди, теряй лишнюю рюмку вина из-за такого щенка, как ты. Я разделаюсь с тобой за это, приятель, прежде чем мы проживем вместе несколько недель.

Я слушал эти щегольские фразы с некоторым нетерпением и с большим негодованием.

– Я возвратился, – отвечал я, – чтобы сказать капитану, какой ветер.

– Черт бы тебя побрал, – возразил Мурфи, – ты думаешь, что капитан не знает какой ветер? А если бы ему и хотелось знать, то неужели ты думаешь, что он не послал бы моряка, как например, я, вместо такого безмозглого щенка, как ты?

– Что капитан разумел под этим я не знаю, – отвечал я, – а я исполнил его приказание. Но что тебе вздумалось называть меня щенком? Я точно такой же щенок, как и ты!

– Что? Как? Ты не щенок? – сказал Мурфи, схвативши меня за одно ухо и начавши дергать так немилосердно, что совершенно изменил его вид, сделав несколько похожим на подветренный борт Голландской барки.

Я не мог снести этого, хотя мне было только тринадцать лет, а ему семнадцать, и притом он был весьма дюжий малый, так что я не должен бы был и помышлять о войне с ним. Но он

начал ее, и честь требовала защищаться; и я только удивляюсь, как не выхватил кортика и не положил его мертвым тут же на месте.

На его счастье, мое бешенство заставило меня позабыть, что при мне было оружие, хотя, между прочим, я тотчас вспомнил свой мундир, нанесенное ему бесчестие, удивление служанки, честь, отданную часовым, одним словом – все, что заставило меня вспыхнуть подобно пороху, и я пустил кулак (оружие, которым я наиболее привык владеть) в левый глаз моего противника с такую скоростью и меткостью, которая, наверное, заставила бы аплодировать мне и самого Криба². Мурфи пошатнулся назад от этого удара, и я на минуту льстил себя надеждой, что достаточно с ним рассчитался.

Но – увы! Этот день был для меня днем неудач. Он отступил назад за тем только, чтоб сделать лучше нападение, и потом ударил меня подобно лейб-егерям при Ватерлоо. Я не мог устоять против него, был опрокинут, и он начал меня бить, таскать, колотить пинками, и, конечно, скоро пришлось бы свидетельствовать меня, как скоропостижно умершего, если бы трактирный слуга и служанка не прибежали ко мне на помощь. Слова последней особенно подействовали в мою пользу: по несчастью, она не имела с собой другого оружия, а то порядком досталось бы этой «картошке»³.

– Стыдно, – говорили они, – срам такому огромному мужчине бить бедного, маленького, невинного, беззащитного мальчика. Что сказала бы его матушка, если б увидела, что с ним так обращаются.

– Черт поberi его матушку и тебя также! – сказал Пат⁴, – взгляни-ка ка мой глаз.

– Черт бы побрал твой глаз, – возразил слуга, – жаль, что он не обработал тебе точно так же и другой; и ты этого заслуживаешь, начавши драться с ребенком. Какая разница, он и ты; такой маленький мальчик, а решился меряться с таким верзилой; он лучше стальных из вас, сколько можно перевешать вас отсюда до железного Барбиканского стула!

– Я была бы очень рада, если б увидела его в этом стуле, – сказала служанка.

Покуда продолжался этот разговор, я снова успел принять оборонительное положение. Я не плакал, не жаловался и обратил на себя участие всех окружавших нас, между которыми был и капитан со своими гостями. Кровь струилась у меня изо рта, и я носил на себе все знаки превосходной силы неприятеля, желавшего удержать меня в повиновении; он был славный боксер по своему возрасту, и, наверное, не получил бы от меня удара, если бы знал, что я смел, и что сам нападу на него. Мурфи рассказал происшествие по своему и пустил в ход все, кроме правды.

Я бы мог наговорить сказок гораздо лучше его; но истина говорила за меня более, чем все его лжи; поэтому когда он кончил, и я начал рассказывать происшествие, ничего не утаивая, то ясно видел, что хотя и был разбит в поле, но имел перед ним преимущество в делах кабинетных. Мурфи впал в немилость, и его приказано было держать на фрегате, пока не поправится.

– Я бы должен был приказать не спускать тебя с фрегата, – сказал ему капитан. – Но Мильдмей предупредил меня; ты не можешь показаться на берег с этим синяком под глазом.

Когда он ушел, капитан начал советовать мне быть вперед осторожнее.

– Ты как медвежонок, – сказал он. – Все твои печали еще впереди; если ты начнешь обижаться за всякое сказанное тебе грубое слово, то наперед можно знать, что встретит тебя на службе. Если ты будешь слаб, из тебя сделают скелет, если же силен, станут ненавидеть. С сварливым нравом ты наживешь себе неприятелей во всяком чине, в каком бы ни был, на тебя с самого сначала станут смотреть завистливым глазом, зная, как мы и все это знаем, что тот же самый заносчивый и вздорный характер, который ты станешь обнаруживать на кубрике,

² Криб – известный кулачный боец в Англии.

³ Murphy – по-ирландски значит картофель.

⁴ Pat – сокращенное Patrik.

последует за тобою на шканцы, и, – наконец, усилится в тебе в продолжение службы. Вот тебе добрый совет, не потому, чтобы я хотел мешаться в эти дела, нет, – на военном судне каждое лицо и каждая вещь найдет свое место и отношение к другим; я хочу только показать тебе границу между сопротивлением против насилия, которое я уважаю, и ничего необещающей сварливостью, которую я ненавижу. Теперь обмой лицо и отправляйся на фрегат. Старайся всеми мерами поладить с прочими твоими товарищами, потому что первое впечатление всегда много значит; и Мурфи, конечно, расскажет происшествие не в твою пользу.

Совет этот был очень хорош, но имел тот недостаток, что дан был мне целым полчаса позже. Драка моя произошла от дурного распоряжения капитана и нравов и обычаев флотских в начале девятнадцатого столетия. В те времена разговор за столом самых высших чинов службы, если только не присутствовали женщины, был обыкновенно такого рода, что молодой мальчик не мог слушать его. Поэтому мне назначено было «выйти вон».

Относясь с почтением к моему капитану, который и теперь еще жив, я должен, однако ж, сказать, что меня следовало послать прямо на фрегат, и посоветовать еще при том остерегаться дурных привычек жительниц Норт-Корнера и Барбикана. Если я не мог быть участником дружеского разговора за капитанским столом, мне надобно было сказать ясно и решительно, чтобы я удалился, а не употреблять незнакомой мне и бесполезной фразы, которую я не понял и не мог понять.

Я возвратился на фрегат около восьми часов, Мурфи прибыл прежде меня и приготовил мне весьма неприятный прием. Вместо приветствия, меня приняли с холодностью, и я возвратился опять на шканцы, ходил по ним, покуда не устал, и тогда облокотился на пушку, чтобы отдохнуть несколько времени; но громовой возглас: «Пошел прочь от пушки» – заставил меня удалиться. Я встал, приподнял фуражку, и начал опять продолжать свою прогулку, посматривая по временам на второго лейтенанта, который так сурово обошелся со мной. Я совершенно упал духом, чувствовал себя в каком-то бессилии, которого не могу описать. Я не сделал ничего дурного, но со мной обращались, как будто бы я совершил уголовное преступление. Я был оскорблен и только защищал себя, как мог. Мне казалось, что я нахожусь не между людьми, а между чертями, и мысли мои обратились к дому. Я припоминал себе ту минуту, когда бедная моя мать упала на софу в жестокой горести, и мое нечувствительное сердце нашло тогда, что ему нужно утешение в любви. Я хотел было плакать, но не знал, куда мне скрыться, ибо на военном судне всхлипывания не должны быть слышны. Гордость моя начинала упадать. Я чувствовал себя словно в нищете, хотя не имел недостатка в денежных средствах, и отдал бы тогда все свои мечтания, чтобы опять спокойно сидеть дома.

Старший лейтенант вскоре потом возвратился на фрегат, и я слышал, как он рассказывал о моем приключении второму лейтенанту. Дело, очевидно, приняло оборот в мою пользу. Меня позвали в кают-компанию, и когда я дал удовлетворительные ответы на все сделанные мне вопросы, послали за Флейблоком, и опять меня отдали под его покровительство. Я надеялся, что внимание ко мне старшего лейтенанта хоть на несколько времени заставит других обращаться со мной по крайней мере с обыкновенною вежливостью.

Теперь я имел более времени рассмотреть свое помещение и товарищей, возвратившихся из порта, где они исполняли разные поручения по службе. Все они собрались в нашей каюте и сидели вокруг стола на ящиках, исправлявших в то время двойную должность: седалищ и хранилищ. Но, чтоб получить себе место, надобно было или пролезть по спинам всей братии, или предоставить себя ужасному давлению того, кто придет после. Такого тесного сгужения никогда нельзя пожелать даже с нашими лучшими друзьями; но в жаркую погоду, в спертom воздухе, при явном недостатке чистого белья, оно в особенности делалось несносным. Народонаселение этой каюты далеко выходило из пределов, обыкновенно допускаемых между человеческими существами во всяком состоянии жизни, исключая судна, торгующие невольниками. Мичманы, из которых восемь было совершенно взрослых и четверо мальчиков, были не только

без курточек, но и без жилетов; некоторые из них завернули рубашечные рукава, как из предосторожности, чтобы в них чего-нибудь не попало, так и для того, чтоб спрятать запачканные нарукавники. Трапеза состояла из кружки полпива и полного лакированного лотка морских сухарей. Вдобавок к этой скромной трапезе и вместе с тем для прохладения спертой атмосферы каюты, стол покрыт был большим зеленым сукном с желтой каймой и с множеством таких же пятен; видно было, что цвет его весьма много потерпел от разлития уксуса, горячего чаю и пр., и пр.; мешок с картофелем стоял на одном конце стола и шелуха раскидана была вокруг него; а над самыми нашими головами, под бимсами, битком набиты были тарелки, трубы, квадранты, вилки и ножи, головы сахару, грязные чулки и рубашки, и еще того более запачканные скатерти, маленькие и большие гребенки, сапожные и платяные щетки, треугольные шляпы, кортики, немецкие флейты, аспидные доски, тарелки с куском соленого масла и две или три пары флотских полусапожек. Единая свечка служила для разогнания темноты. Спертый воздух и запах почти лишили меня чувств.

Прием, сделанный мне товарищами, нисколько не облегчил этого ужасного впечатления. Негр, в одежде, состоявшей из грязной клетчатой рубахи и брюк, издававших запах, не похожий на аромат амбры, стоял у дверей в готовности исполнять многочисленные приказания всех и каждого. Запах от утиральника, который держал он в руке, для вытирания тарелок и стаканов, довершил победу надо мной, и я упал на ближайшее ко мне место. Оправившись от этого состояния, без сторонней помощи, я прищурил глаза, стараясь осмотреть окружавших меня. Первый, кого встретили мои глаза, был мой последний враг; он носил на себе еще следы стычки. Один глаз у него был завязан серою сахарною бумагой и грязным шелковым носовым платком, другой же он немедленно обратил на меня, и с дикой и зверской физиономией божился и угрожал мне при всех самым жестоким мщением. В этом присоединились к нему другие товарищи с огромными бакенбардами, недоброжелательно на меня поглядывавшие.

Я не хочу повторять щегольской филиппики, которою меня удостоили. Достаточно сказать, что все большие мичманы были против меня, а младшие оставались нейтральными. Содержатель кают-компании, полагая, что я получил уже должные наставления, как вести себя на будущее время и вынужден пребывать в мире, приказал всем младшим выйти из кают-компании и потом обратился ко мне:

– Что касается до вас, господин Кулачник, – сказал он, – вы можете выйти вон вместе с ними и старайтесь, чтоб вас было видно здесь так же редко, как брюки на шотландцах.

Все мальчики повиновались приказанию в молчании, и я не сожалел, что должен идти за ними. Когда я поднялся с места, он прибавил:

– Итак, господин Задира, я вижу, ты умеешь повиноваться приказаниям; тем лучше для тебя, потому что я имел уже наготове сухарь, чтобы швырнуть тебе в голову.

После всего, претерпенного мною, я не гнался за подобным оскорблением и должен был спрятать его в карман, но не мог понять, что подразумевал адмирал, когда говорил, что надо побывать на море, чтобы «научиться хорошему обращению».

Я скоро познакомился с младшими из моих товарищей, и мы отправились на бак, как единственное на фрегате место, приличное для такого разговора, какой мы хотели вести. После рассуждений, продолжавшихся с час, и несмотря на то, что стояла еще первая ночь в жизни, проводимая мною на судне, я единодушно был избран предводителем этой маленькой горстки героев. Я сделался Вильгельмом Теллем нашей партии, потому что первый подал голос за сопротивление против тирании старших, и в особенности против тирана Мурфи. Мне сообщили все тайны стола, в который младшие помещены были капитаном для обучения их и содержания в порядке. Но, увы! Чему могли мы научиться кроме ругани? В каком порядке содержались мы, кроме того, чтоб регулярно вносить деньги на стол, и не получать почти ничего из покупавшегося на них? Кровь кипела во мне, когда я слушал их рассказы о том, что претерпевали они, и поклялся скорее умереть, нежели покориться такому порядку.

Наконец, настало время сна. Мне рассказали, как должно лечь в койку, и смеялись, когда я вывалился из нее на другую сторону. Я должен был покориться насмешкам этих молокососов, гордившихся своим превосходством, хотя они могли похвалиться передо мной только несколькими месяцами опытности, и потому называвших меня простофилей. Но все это обходилось без ссоры; наконец, после нескольких усердных взрывов хохота моих товарищей, я попал на центр висячей кровати и очень скоро погрузился в глубокий сон. Но мне суждено было наслаждаться им только до четырех часов утра. В это время тот конец койки, где лежала моя голова, оборвался, и я упал на палубу, а ноги мои торчали в воздухе, так, как у бедной Салли, когда она поймала рака. Оглушенный этим падением, приведенный в замешательство жестоким сотрясением и новостью всего меня окружавшего, я находился в состоянии сомнамбулизма, и не прежде, как через несколько минут, мог опаматоваться.

Часовой, из морских солдат или, как называют, солдатский часовой, стоявший у дверей кают-компании, видел это происшествие и того, кто постарался так одолжить меня. Он весьма услужливо пришел ко мне на помощь, связал подвески и устроил койку мою на прежнем месте, но не мог уговорить меня опять довериться такому изменническому ложу. Страх нового падения так сильно овладел мною, что я взял одеяло и улегся на сундуке, стоявшем возле, устремив лишенные сна глаза прямо на место последнего бедствия.

Это послужило к моему счастью, ибо не прошло нескольких минут, как Мурфи, спустившись вниз по смене с вахты в четыре часа, увидел койку мою опять висящую, и, полагая, что я в ней, вынул ножик и обрезал ее.

«Так так-то, – сказал я самому себе, – так это ты, приятель, нарушил мой сон, расшиб меня, а теперь хотел сделать тоже самое и в другой раз».

Я поклялся Небом отомстить моему злодею и исполнил эту клятву. Подобно северо-американскому дикарю, завернувшись, чтобы он меня не видел, я выжидал терпеливо, покуда он отправится в койку и крепко заснет. Тогда я подвинул под нее зарядный ящик и приноровил так, чтобы угол приходился прямо против его головы; мщение и гнев кипели во мне, и если б досталось только его бокам, я не был бы тем доволен. Подкравшись, я осторожно обрезал у него шхентросы; он упал, ударился об угол ящика, громко заревел и остался на месте. В мгновение ока я прыгнул опять на свой сундук под одеяло и притворился храпящим; часовой, на счастье мое, видевший, как Мурфи обрезал в первый раз мою койку, подошел с фонарем и, видя, что он лежит замертво, отодвинул прочь ящик, а потом побежал сказать солдатскому унтер-офицеру, чтобы тот привел фельдшера.

Когда унтер-офицер ушел, солдат подошел ко мне и тихонько прошептал:

– Лежите смирно, я все видел, и если узнают, что это ваша работа, то вам крепко достанется.

Мурфи, как оказалось, имел мало друзей на фрегате; все радовались этому случаю. Я, притаившись, лежал под своим одеялом, когда фельдшер перевязывал рану. Наконец, после долгих стараний, привели больного в чувство, и он пролежал потом две недели в постели. Меня нисколько не подозревали; а если и подозревали, то знали, что не я был зачинщик. Тайна хранилась хорошо. Я дал часовому гинею и взял его к себе на службу.

Теперь, читатель, позвольте мне быть справедливым к самому себе и сделать несколько замечаний; они послужат как бы некоторым оправданием того безнравственного поведения моего, которое вы узнаете из чтения последующих страниц. Гордость и мщение, эти две страсти, сделавшиеся неразлучными с нами, смертными, если не искоренялись во мне в продолжение воспитания, то должны были по крайней мере оставаться как можно долее спящими; но, напротив, от вредного воздействия моих первоначальных наставников, они были в самом юном возрасте вызваны к полной своей силе и деятельности. Никто не ухаживал за семенами нравственности, посеянными моими родителями, и которые могли бы дать прочные плоды: плевелы заняли их место и почву, которая должна была вырастить их. В тот самый период моей

жизни, когда необходимо было самое искусное старание, чтобы произвести во мне перелом, в какое общество был я брошен? На судно, где теснилось триста человек, из которых каждый, или почти каждый, жил с безнравственной женщиной, где ругань и божба сопровождали каждое слово.

Так говорю я о судне вообще. Но обратимся к мичманской артели. Здесь мы встретим тот же язык и то же самое обращение, разве несколько, весьма мало, смягченное. На берегу главной их целью было напиться допьяна и наделать самых гадких буянств, чтоб хвалиться ими по возвращении на судно и заставить перевозносить себя похвалами. Капитан мой сказал, что на военном судне «всякая вещь имеет свое назначение». Это справедливо; но мичманская каюта была местом дикарей, где телесная сила составляла все, и решала, должно ли оставаться тираном или рабом. Порядок в английских народных училищах, как он ни был дурен и безнравствен, был ничто в сравнении с бесчеловечными порядками, установившимися в мичманских кают-компаниях в 1803 году.

Давно вскоренилось у нас, в Англии, ложное мнение, что мальчикам весьма полезно побывать в народных училищах и испытать тираническое обращение сильнейших или старших товарищей; поэтому самому мы не перестаем слышать похвалы народным училищам и мичманским кают-компаниям, где, как говорят, «мальчики узнают свои отношения к другим». Самая худшая из наших слабостей – делать другому то же самое зло, которым мы хвалимся, что претерпевали сами. Бодрый и смелый друг в благонаравном мальчике ниспровергается дурным обращением, которому он не имеет силы противиться, или, если преодолет все это, он с надменностью всасывает наклонность к угрюмому сопротивлению и непримиримому мщению, делающимися ядом всей его будущей жизни.

Такова-то была и моя участь, и поэтому не должно казаться удивительным, если в дальнейшей моей жизни я обнаружил некоторые плоды тех гибельных семян, которые так рано и так расточительно были посеяны в моей груди. Если в первые дни пребывания моего на судне я с ужасом отворачивался, услышав сквернословие, если я закрывал глаза свои при виде развратного обращения между матросами и женщинами, бывшими на фрегате, то это было ненадолго. По нечувствительным ступеням я приблизился к пороку, и в несколько месяцев сделался столь же развращенным, как и другие. Я бы мог сдерживать себя еще долее; но хотя крепость моей добродетели в состоянии была сопротивляться открытому нападению, она не могла устоять против подкопов насмешек. Молодые товарищи, которые, как я сказал прежде, только шестью месяцами ранее меня определились на службу, почти уже состарились в разврате; они смеялись над моим отвращением от их поступков, называли меня бабой, пансионской барышней и скоро сделали таким же безнравственным, как были сами. Мы еще не достигли возраста, в котором совершают уголовные преступления, но были уже совершенно готовы к нему.

Не прошло двух дней пребывания моего на фрегате, как младшие мичманы предложили мне прогуляться на грот-марс. Я влез на ванты, как нельзя смелее, ибо всегда был хороший лазун; но только поднялся немного, марсовой унтер-офицер и один матрос догнали меня, без всякой церемонии или предисловия схватили за руки и весьма хладнокровно привязали крепко к вантам. Они смеялись над моими протестами. Я спросил, что это значит; марсовой унтер-офицер, весьма учтиво и снявши фуражку, сказал мне, что таким образом угощают всех господ, когда они в первый раз всходят на мачты, и что я за первую мою прогулку должен дать им на чаек. Я посмотрел на шканцы, ожидая оттуда помощи, но там все надо мной смеялись, и даже те самые лукавые мичманы, которые подстрекнули меня полезть, забавлялись шуткой. Видя, что это должно быть так, я спрашивал только об одном: сколько надобно заплатить? Марсовой унтер-офицер отвечал, что семь шиллингов он полагает весьма достаточным. Я обещал, был освобожден и отпущен на слово; и когда спустился на шканцы, отдал деньги.

Испытавши одни только грубости и притеснения с тех пор, как был на фрегате, я жестоко раскаивался в своем намерении поступить во флот; единственное мое утешение было – видеть Мурфи, лежащего в койке с обвязанною головой. Это было для меня бальзамом.

«Я умел выждать время, – говорил я самому себе, – я стану теперь мстить всем вам». И исполнял это в точности, потому что не упускал случая каждому из них отплатить за себя и утолял свою жажду мщения.

Через три недели по моем поступлении на фрегат донесли о готовности его к выходу в море. Я приобрел расположение старшего лейтенанта постоянным вниманием к небольшим поручениям по службе, которые он делал мне. Я был назначен на вахту и записан, во время авральных работ, на фор-марс, а по ордонансу заведовал плутонгом носовых пушек в батарейной палубе. Младшие мичманы говорили мне, что старший лейтенант был суров в обращении и непримирим с тем, кто однажды попадет к нему в немилость; однако даже и в порывах величайшей вспыльчивости, он обращался всегда как вполне благородный человек, и я продолжал быть с ним в хороших отношениях. Но с вторым лейтенантом мне не посчастливилось сойтись. Он приказал мне однажды взять четверку и свезти на берег женщину, бывшую его возлюбленной; я заупрямился и не захотел исполнить его приказания, и с той минуты мы никогда не были приятелями. Мурфи оправился, наконец, от своего падения и начал исправлять должность; ненависть его ко мне возросла, и я не имел покоя в его присутствии. Однажды он кинул сухарем прямо мне в голову, и в то же самое время выбрал меня самыми грубыми словами. В одно мгновение были мною забыты все сделанные мне увещания и все страдания от вспыльчивости моего характера; кровь закипела в моих жилах. Отуманенный бешенством, я схватил медный подсвечник, дно которого, для устойчивости в море налито было свинцом, и кинул в него изо всей силы; если бы я попал как мне хотелось, то, наверное, эта обида была бы от него последнею. Подсвечник пролетел мимо его головы, и задел по плечу черного слугу; бедняк с воплем пошел к доктору и оставался на его попечении несколько дней.

Мурфи вскочил с места для немедленной расправы, но был удержан другими, старшими в нашей кают-компании, которые единодушно объявили, что такая обида должна быть наказана более торжественным образом. Этот забавный суд, не разбирая причины, заставившей меня прибегнуть к подсвечнику, нашел меня виновным в неповиновении старшим и в подании тем дурного примера младшим. Он приговорил меня к наказанию шерстяным чулком, набитым мокрым песком. Меня разложили на обеденном столе и держали четверо дюжих мичманов; лекарский помощник держал меня за кисть руки, чтобы следить за пульсом. Между тем, как Мурфи, по особенной, собственной его просьбе, явился исполнителем приговора. Если б это был кто-нибудь другой, а не он, я бы кричал под таким мученическим наказанием, но тут я решился лучше умереть, чем доставить ему удовольствие обнаружением моих страданий. После самых жестоких побоев, холодный пот и слабость испугали лекарского помощника. Меня отпустили, но приказали две недели есть особо на своем сундуке. Как только я в состоянии был встать и переводить дыхание, я торжественно объявил им, что вперед обиды мои будут всегда отплачиваться таким же образом, как тот, за который я был высечен, и что тогда я обращусь за правосудием к капитану.

– Объявляю тебе теперь, – сказал я, обращаясь к Мурфи, – что я обрезаю твою койку и перешиб тебе все кости. Я это сделал в отплату за то, что ты исподтишка напал на меня; и сделаю то же самое в другой раз, если начнут мучить меня за первый, ибо всякое свинство, которое ты против меня сделаешь, будет непременно отмщено.

Он оскалил зубы и, побледнев, отворотился, но не смел ничего больше сделать, потому что был трус.

Мне приказано было выйти из кают-компании, и когда я уходил, один из товарищей заметил другим, что я настоящий злой дьявол.

Эта жестокая сцена повлекла за собою род перемирия после военных действий. Мурфи знал, что если я буду раздражен, то он может ожидать себе графин в голову или нож в бок; и мир, которого я не мог добиться от него добром, я вынудил у него страхом. Дело это надделало шуму на фрегате. Я потерял милость офицеров, будучи пред ними оболган, но приобрел расположение матросов, потому что они ненавидели Мурфи. Они знали правду и удивлялись моему непоколебимому мужеству.

Посланный офицерами в Ковентри⁵, я искал общества матросов. Я скоро выучился практической части моей должности и воспользовался простыми замечаниями этих суровых воинов над недостатком сведений их начальников в практическом матросском искусстве. Между нами был сделан род договора; они обещали мне никогда не бегать с той шлюпки, на которой я буду послан; а я обещал им позволять отлучаться в питейные дома на столько времени, на сколько можно будет. Несмотря, однако ж, на это обоюдное ручательство, двое из них нарушили свою клятву за день до ухода нашего в море, и бежали со шлюпки, на которой я был послан, а так как я послушался приказаний и дозволил им отлучиться в питейный дом, то, по возвращении на фрегат, был сменен со шканец и записан для работ на фор-марс.

⁵ Sent to Coventry – послать в Ковентри – поговорка, и означает изгнание. Поговорка эта имеет происхождение от предания, заключающегося в том, что один какой-то лорд хотел представить городу Ковентри, находящемуся в графстве Варвик, разные важные льготы, но по странности своей, к которой расположены англичане с незапамятных времен, соглашался это сделать лишь при том условии, чтоб первая красавица города, девица из хорошей фамилии, в полдень проехала по всем улицам нагая, верхом на лошади. Девица исполнила это, прикрыв себя, сколько можно, своей пышной распущенной косой, а жители положили закрыть на то время все окошки и двери домов, пригрозив наказанием любопытному. Пипинг Том нарушил условие и за любопытство был исключен из числа граждан и выгнан из города. Таким образом того, кто за неприличное поведение попал в немилость и находится в изгнании, называют Sent to Coventry.

Глава III

*Каждая пушка из своих твердых, как алмаз, уст сеет тень смерти
вокруг судна, словно ураган, затмевающий солнце.*

Камбелль

Принявши во внимание мою молодость, неопытность и маловажное упущение, навлекшее на меня наказание, немного, я думаю, найдется таких строгих служак, которые не согласятся, что я был несправедливо и жестоко наказан старшим лейтенантом, очевидно, мирволившим моим врагам. Второй лейтенант и Мурфи не скрывали даже в этом случае чувств своих и радовались моему посрамлению.

Фрегату нашему неожиданно было приказано идти в Портсмут, где хотел присоединиться к нам капитан, бывший в отпуску; и по приходе нашем туда, он вскоре прибыл на фрегат. Тогда старший лейтенант донес ему о поведении каждого в продолжении его отсутствия. Я уже около десяти дней исправлял должность на фор-марсе, и намерение мистера Гандстона было высечь меня у пушки, в знак благодарности за потерю людей; но эта часть приговора не была однако ж выполнена, потому что на утверждение ее, казалось, не согласился капитан.

Я оставался по-прежнему членом мичманского стола, но мне не позволялось входить в их кают-компанию; кушанье приносилось мне, и я ел его в одиночестве на своем сундуке. Младшие разговаривали со мной украдкой, боясь старших, которые отправили меня в самое жестокое Ковентри.

Должность моя на фор-марсе была только номинальная. Я был на марсе, когда вызывали всех наверх, и на своей вахте, занимаясь там все время книгой, если не имел какой-нибудь небольшой работы по силам. Матросы смотрели на меня с любовью, как на пострадавшего по их милости, и с удовольствием учили меня делать узлы, сплескивать, брать рифы, убирать паруса, и проч., и проч., и чистосердечно сознаюсь, что самые счастливые часы, проведенные мною на этом судне, были в продолжении моего изгнания между этими добрыми смоляками.

Не знаю, открыли ли это мои враги, но только по приходе в Портсмут, я был позван в каюту к капитану, где получил наставление и выговор за мое дурное поведение, раздражительный, сварливый нрав и за потерю людей со шлюпки.

– Я уважаю ваше вообще хорошее поведение, – прибавил он, – но во всяком другом случае наказание ваше должно бы быть гораздо строже; я вполне надеюсь, что после этой небольшой и довольно умеренной кары поведение ваше на будущее время станет осторожнее. Итак, я освобождаю вас от позорной должности, на которую вы были назначены, и позволяю вам по-прежнему исправлять должность на шканцах.

Слезы, которых не могли выжать из меня ни бесчеловечие, ни суровое обращение, полились в изобилии, и я не прежде, как через несколько минут, мог настолько оправиться, чтоб поблагодарить капитана за его милость и объяснить ему причину моего позорного наказания. Я говорил ему, что со времени поступления на фрегат, со мной обращались, как с собакой, и он только один не знал об этом и один обращался со мной человеколюбиво. Я рассказал потом все, претерпенное мною, начиная с того бедственного стакана вина и поручения узнать ветер до этой минуты. Не скрыл также, что обрезал койку Мурфи и пустил ему в голову подсвечник. Я уверял его, что никогда сам не подавал повода и никого не трогал, покуда меня не трогали; и сказал, что ни один нанесенный мне удар или брань никогда не останутся без отплаты. Таков я от природы, и пусть хоть убьют меня, не могу переделать себя.

– Много людей бежало, – сказал я, – с того времени, как я на фрегате, и прежде того, но те мичманы, на чьей очереди это случалось, получали только выговор; тогда как я, только что поступивший на службу, был наказан с наибольшей строгостью.

Капитан с вниманием слушал мои оправдания и, казалось, был ими очень тронут. Я узнал потом, что Гандстон получил выговор за строгое обращение со мной; и капитан заметил ему, что я обнаружу когда-нибудь или блестящий характер, или пойду к черту.

Я ясно видел, что хотя и восстановил против себя главных членов нашего стола своим характером, но приобрел зато нескольких сильных друзей, между коими был и капитан. Многие из офицеров удивлялись моему упрямству, которое я постоянно выказывал, и должны были согласиться, что справедливость была на моей стороне. Я вскоре увидел перемену обо мне мнения по частым приглашениям в капитанскую каюту и к обедам в каюткомпании. Младшие гордились, что могли опять открыто принять меня как своего сотоварища; но старшие смотрели на меня с завистью и недоверчивостью.

С ровесниками моими я немедленно составил план защиты, оказавшийся весьма важным в наших последующих военных действиях. Один или два из них проявили достаточно храбрости, чтобы исполнять мои условия; но другие сделали только громкие обещания и не держали слов своих, когда доходило до дела. Условие мое состояло только из двух правил: первое – всегда кидать бутылку, графин, подсвечник, ножик или вилку в голову каждого, кто осмелится кого-либо из нас тронуть, если зачинщик будет настолько силен, что невыгодно встретить его в чистом поле; второе – не позволять похищать у нас нашу собственность и давать нам равную долю из того, за что мы платили наравне с прочими, стараясь приобретать хитростью отнимаемое у нас силой.

Я представлял им, что по первому плану мы заставим обходиться с собой по крайней мере вежливо; по второму я обещал доставить им равные доли в лакомых припасах стола, из которых старшие присваивали себе большую часть; в этом последнем случае мы были более единодушны, нежели в первом, ибо он менее подвергал личной опасности. Я составлял все планы для фуражировок и был вообще в них удачлив.

Наконец мы вступили под паруса и отправились к Кадиксу, чтобы соединиться с бывшим около него флотом под командою лорда Нельсона. Я не стану описывать, как прошли мы Ламанш и Бискайский залив. Меня сначала укачивало, как даму на Дуврском пакетботе, куда немилосердные призывы наверх к должности при работах и исправление вахты не заставили меня привыкнуть к качке судна.

Мы пришли к месту нашего назначения и соединились с бессмертным Нельсоном за несколько часов до сражения, в котором он потерял жизнь и спас свое отечество. История этого важного дня так часто и подробно была описываема, что мне ничего более не остается прибавить. Я удивлялся только, видя замешательство и постоянную изменчивость, сопровождающие морское сражение, сколько можно было заключать об этом. Я сделал тогда одно замечание, и с тех пор всегда более и более убеждался в его справедливости. Замечание это состояло в том, что адмирал, как скоро началось сражение, перестал вовсе быть адмиралом. Он не мог ни видеть, ни быть видимым; не мог воспользоваться слабыми пунктами неприятеля, ни защитить своих собственных; корабль его «Виктория», один из прекраснейших наших трехдечных кораблей, был некоторым образом привязан к борту французского восьмидесятипушечного корабля.

Замечания эти я читал на каком-то морском сочинении и впоследствии убедился в них совершенно. Как я ни был тогда молод, но, увидевши достойных предводителей наших двух колонн, подвергшихся соединенному огню столь многих кораблей, не мог удержать чувства сильнейшего беспокойства о славе моего отечества. Я полагал, что Нельсон слишком подвергал себя огню неприятеля, и теперь думаю то же. Опыт подтвердил справедливость заключения, сделанного юношеским воображением; центр неприятельский должен был быть раздроблен, прорезан семью нашими трехдечными кораблями, из коих некоторые, будучи далеко сзади, мало участвовали в сражении, и если присутствие их надобно было только для устрашения неприятеля, то они могли бы благополучно оставаться у себя дома. Я не отношу это к тем,

которые командовали ими: случайное соединение тихого ветра и пребывания в линии удалило их на такое расстояние от неприятеля, что большую часть дня они находились вне опасности.

Другие корабли, напротив, были в наилучших положениях относительно неприятеля, но, сколько я слышал от офицеров, не вполне сделали то, что могли бы сделать. Недостатки эти с нашей стороны встретили и у неприятеля такое же расстройство, происшедшее почти от одинаковых причин, и потому полная победа осталась за нами. Сброд, составлявший команду британского флота действовал хорошо и храбро; и мы должны сказать, что в этот день, когда Англия ожидала, что всякий исполнит свой долг, весьма мало было таких, которые обманули надежды своего отечества.

Никогда, нет, никогда не забуду я электрического действия, произведенного в нашем флоте поднятием этого бессмертного сигнала⁶. Я не могу сравнить его ни с чем иным, как с фитилем, приложенным к длинному ряду похоронных камер; и так везде были одни и те же англичане, поэтому одно и то же чувство, одинокий энтузиазм был проявлен на каждом корабле; слезы текли из глаз многих благородных матросов, когда объявили им эту краткую, но полную чувства речь. Она наполнила душу сладкими надеждами, которые у многих, увы, никогда не сбылись. Спокойно пошли они к своим пушкам, и с той минуты я видел одну хладнокровную, рассудительную храбрость, изображавшуюся на лице каждого.

Капитан мой, хотя мы не были в линии, не скупился на выстрелы и, хотя не имел прямой обязанности входить в неприятельские выстрелы, пока не будет призван сигналом, считал, однако, своею обязанностью быть по возможности ближе к нашим сражавшимся кораблям, чтобы в случае надобности подать им помощь. Я был на своем месте у носовых пушек в батарейной палубе; фрегат приготовлен был к бою, и я не могу представить себе ничего торжественней, величественней и разительнее для глаз, как судно в подобных случаях.

Величественный ряд пушек стройно рисовался по линии, слегка обрисовавшей кривую против середины; пушечные тали лежали на палубе, круглые картечи, кипели ядра и пыжи приготовлены были в избытке; юнги, находившиеся у разноски картузов, сидели на наполненных картузами кокорах с совершенным, как казалось, равнодушием к предстоящему сражению. Канониры стояли у пушек с медными лядунками, повязанными вокруг курточек; замки наложены были на пушки; шнурки свернуты около них, и офицеры с обнаженными саблями стояли у своих дивизионов.

На шканцах командовал сам капитан, и при нем находились старший лейтенант, капитан морских солдат, несколько вооруженных ружьями солдат, штурманский помощник, мичманы и часть матросов для управления парусами и действия шканечными орудиями. Шкипер был на баке; артиллерийский цейхвартер в пороховой камере для выдачи картузов; плотник осматривал трюм и от времени до времени доносил, сколько было в нем воды; он также обхаживал по коридорам или пустым местам, оставляемым для прохода между бортами судна и канатами и другими принадлежностями, лежащими на кубрике. При нем находились его помощники, которые носили с собой деревянные пробки, пеньку и сало, чтобы заделывать могущие быть пробоины.

Лекарь с фельдшерами был на кубрике. Ножи, пилы, бинты, губка, чашки, вино и вода, все было расставлено и готово встретить первого несчастного страдальца, которому понадобится помощь. Это более всего заставило меня содрогнуться.

«Скоро и меня, – подумал я, – растянут меня на этом столе, чтобы резать, пилить, и я буду нуждаться во всем медицинском знании и во всех инструментах, которые теперь перед собой вижу!»

Я отвернулся и старался все это забыть.

⁶ Сигнал Нельсона перед Трафальгарским боем: «Англия ожидает, что всякий исполнит свой долг»

Как только наш флот спустился для нападения на неприятеля, мы спустились тоже, стараясь держаться как можно ближе к адмиралу, ибо нам приказано было репетировать его сигналы. Меня в особенности поразило искусство, с каким это исполнялось. Нельзя было смотреть без удивления, как те же самые флаги, которые поднимались у адмирала, развевались немедленно на вершинах наших мачт; а всего более показалось мне удивительным, что на адмиральском корабле флаги поднимались клубками и не прежде развертывались, как по достижении клотика; но сигнальный офицер репетирного судна узнавал номер флага, откуда он свернутый поднимался до места. Это делалось при помощи хорошей зрительной трубы, по привычке, а иногда от предугадывания сигнала, которой вслед за последним, или по обстоятельствам, должен быть сделан.

Читатель, может быть, не знает, что между образованными нациями, в войне на море, линейные корабли никогда не палят по фрегатам, покуда они сами не заставят действовать по ним, находясь между атакуемыми кораблями или нанося явный вред, как случилось, например, в Абукирском сражении, когда сэр Джемс Сомаретц на корабле «Опион» оказался в необходимости потопить французский фрегат «Артемизу» и одним залпом отплатил ему за дерзость. При этом условии мы могли подходить к неприятелю без вреда, если бы не посылали так щедро выстрелов самым большим его кораблям, которые, отвечая на них, нанесли нам поэтому значительный урон в людях.

Ничего не могло быть великолепнее зрелища, когда обе линии британского флота спустились параллельно одна к другой и почти перпендикулярно к линии соединенных флотов, образовав полумесяц. Как только наши авангарды подошли на пушечный выстрел к неприятелю, он открыл огонь по «Рояль-Соверине» и «Виктории»; но когда первый из этих величественных кораблей обошел под кормой «Санта-Анна», а «Виктория, вскоре потом поставил себя борт о борт с „Редутабль“, облака дыма покрыли оба флота, и с того времени ничего почти не было видно, кроме падения мачт, и когда прочищался дым, в разных местах кораблей, совершенно обитых.

Один из таких кораблей оказался английский, и капитан наш, увидевши, что он находится между двух неприятельских, приспустился, дабы взять его на буксир. В то время один из наших кораблей открыл сильный огонь по одному французскому, по несчастию находившемуся в прямой линии между нами, так что выстрелы, не попадавшие в неприятеля, иногда прилетали к нам. Я высунул голову в носовой порт в то мгновение, когда ядро ударило в наш фрегат у ватерлинии, позади меня. Это был первый случай, когда я видел действие сильного удара ядра; оно сделало большой всплеск и, сколько мне тогда казалось, необыкновенный шум, брызнувши мне в лицо большим количеством воды. Весьма натурально, что я отскочил назад, и, думаю, очень многие храбрецы сделали бы то же самое. Двое из матросов, бывших у моей пушки, смеялись надо мной. Я был пристыжен и дал себе слово не выказывать более подобной слабости.

За этим ядром последовало еще несколько других, но не таких сильных; одно из них попало в носовой борт и убило двух матросов, бывших свидетелями моего страха. Так как гордость моя была унижена тем, что эти два человека видели меня струсившим, то, сознаюсь, я втайне радовался, когда увидел их вне способности отвечать на человеческие расспросы.

Трудно описать чувства мои в этот день. Не прошло шести недель с тех пор, как я обворовывал курятники и сады, был героем на водопойном пруде и топил учительского помощника; а теперь, неожиданно и почти без всякого предварительного расчета или размышления, находился посреди ужасного кровопролития и действующим лицом в одном из тех великих происшествий, которыми решалась судьба образованного мира.

Ускоренное кровообращение, страх внезапной смерти и еще более того страх стыда заставлял меня невольно и часто переменять место, и я не прежде как через несколько времени и с большими усилиями мог привести рассудок свой в то состояние, в котором он позво-

лил мне чувствовать себя столь же безопасным и спокойным, как если бы мы были в гавани. Я достиг, наконец, этого состояния и вскоре устыдился беспокойства, одолевавшего меня до начала пальбы. Надобно еще сказать, что я молился; но молитва моя не была молитвой веры, раскаяния или надежды, – я молился о сохранении меня от наступающей личной опасности, и воззвание мое к Богу состояло в одной или двух коротких благочестивых молитвах, без всякой мысли о покаянии за прошедшее или обещании исправления себя в будущем.

Когда вступили мы в настоящее сражение, я не чувствовал ничего более и смотрел на бедняка, перебитого ядром на две части, с таким же хладнокровием, с каким в другое время смотрел бы на мясника, убивающего быка. Не знаю, каково было тогда мое сердце; но только, когда продольное ядро убило семерых и троих ранило, этот случай более удовлетворил моему любопытству, нежели поразил чувства. Я сожалел о людях и ни за что в свете сам не нанес бы им подобного вреда; но мысли мои имели философское направление; мне нравилось рассуждать о причинах и действиях, и я втайне радовался, что увидел действие продольного выстрела.

К четырем часам пополудни огонь стал уменьшаться; дым рассеялся, и тихое до того море начало волноваться от увеличивавшегося ветра. Оба воюющие флота сделались зрителями взаимно равного поражения. Мы завладели девятнадцатью неприятельскими линейными кораблями. Некоторые из них спустились в Кадикс; а четыре, прошедши на ветре нашего флота, ушли. Я прыгнул в шлюпку, посланную с нашего фрегата на ближайший корабль, где услышал о смерти лорда Нельсона, и сообщил о том капитану, который, заплативши дань памяти этого великого человека, посмотрел на меня весьма ласково. Из всех младших мичманов я один был в особенности деятелен, и он немедленно послал меня с поручением на корабль, бывший недалеко от нас. Старший лейтенант спросил его, не прикажет ли он послать кого-нибудь поопытнее.

– Нет, – отвечал капитан, – пусть идет он; он очень хорошо знает, что ему надобно делать. – И я ушел, нисколько не гордясь оказанною мне доверенностью.

Дальнейшие подробности этого достопамятного дела находятся в истории нашего флота, и поэтому излишне повторять их здесь. Сошедшись с товарищами за ужином в нашей кают-компании, я сердечно сожалел, что видел между ними Мурфи. Я льстил себя надеждой, что какое-нибудь счастливое ядро навсегда избавит меня от заботы о нем на будущее время, но час его еще не пробил.

– Черт имел сегодня славную поживу, – сказал подштурман, выпивши стакан грога.

«Жаль, что ты и еще несколько других, которых бы я назвал, не попали в его тенета», – подумал я про себя.

– Вероятно, довольно и лейтенантов откланялось сегодня этому свету, – сказал другой. – Мы можем в таком случае ожидать производства!

При поверке у нас людей, найдено убитыми девять и раненых тринадцать. Когда узнали об этом, то казалось, что лица всей команды выражали более улыбку поздравления, нежели сожаления о числе павших. Офицеры не переставали тщеславиться, что на фрегате такой величины, как наш, было гораздо больше кровопролития, в сравнении с тем, что они слышали об убитых на линейных кораблях.

Я отправился к лекарю в констапельскую, куда сносили раненых, и без содрогания смотрел на производимые им ампутации, в то время как люди, бесстрашно действовавшие во время сражения, не могли равнодушно смотреть на это. Мне кажется, что я даже находил удовольствие присутствовать при хирургических операциях, нисколько не рассуждая о страданиях, претерпеваемых больными. Привычка начинала уже заставлять грубеть мое сердце. Я от природы не был жесток, но любил подробное исследование вещей; и этот день сражения доставил мне весьма ясные сведения об анатомии человеческого тела, которое я видел перерезанным пополам ядром, разодранным осколками, и, наконец, видел, как изрезывали его ножами и распиливали пилами.

Вскоре после сражения, нам приказано было идти в Спитгед с дубликатными депешами.

Раз поутру я услышал, как один мичман говорил, что он «заставит старика, отца своего, сделать ему новую экипировку». Я спросил его, что это означает, был назван за мое незнание «простаком» и потом получил объяснение.

– Разве ты не знаешь, – сказал он, – что после каждого сражения показывается парусины, веревок и красок в расходных ведомостях гораздо больше того, сколько в самом деле истреблено неприятелем?

Уверения его заставили меня согласиться в этом, хотя я не знал, говорил ли он правду, и он продолжал:

– Как бы имели трюмсели, белые чехлы на койках, и все наши украшения, уж не говоря о раскрашенном полосатом кафтане, в который мы одеваем каждые шесть недель наш фрегат, если б мы не выставляли в расход всех этих вещей, будто бы в продолжении сражения выкинутых за борт или перебитых? Список требований подается адмиралу; он скрепляет его, и старый капитан над портом должен выдать материалы, хочет ли или нет. Я был однажды на военном шлюпе, когда сорокачетырехпушечный фрегат сошелся с нами, сломил свой утлегарь и оставил большой славный кливер на нашем фока-рее. Он сделан был из прекрасной русской парусины, и ты думаешь мы не сделали из него белых покрывал на сетки с носу до кормы, и белых брюк для команды? Итак, знай же теперь, что как заставляем мы казну охать о припасах и материалах, так точно думаю я заставить охать отца от моих уловов. Я хочу сказать, что сундук мой со всем имуществом выкинут за борт, и возвращусь к нему и к своей старушке, начисто готовый для новой экипировки.

– И ты решительно думаешь обмануть таким образом отца своего и мать? – возразил я с большой притворной невинностью.

– Ты глуп, братец! Обману ли я? Наверное обману. Да как же я могу обзавестись всем, если не воспользуюсь надлежащим образом таким сражением, в каком мы были?

Я наматал на ус этот разговор. Мне никогда не приходило на мысль, что если я откровенно и правдиво стану представлять родителям моим о недостатке у меня платья, чтоб являться на шканцах как следует джентльмену, то они охотно увеличат приличным образом гардероб. Но мне показалось лучше употребить в этом случае хитрость и лукавство; я мог говорить правду так же хорошо, как и ложь, смотря по тому, что признавал для себя выгоднее; а в этом случае я считал обман доказательством ума и достоинства и решился употребить его, лишь бы только возвысить себя в уважении моих недостойных товарищей. От привычки я пристрастился к обману, и любил изощрять свое остроумие в составлении разных планов нападения на моего отца, для получения обманом того, чего я не надеялся получить благородными и прямыми средствами. На нашем фрегате надобно было сделать некоторые исправления, при которых мне весьма было бы полезно присутствовать, чтоб видеть, какого рода были и от чего произошли его повреждения; но по милости капитана, остававшегося довольным моим поведением, я был отпущен в домовый отпуск на все время, покуда производилось исправление фрегата. Через эту ошибку я потерял всю ту пользу, какую могло бы доставить мне присутствие при разоружении и вооружении судна, возвращении припасов и материалов к порту, вынимании мачт, выгрузке балласта, введении в док, при чем можно б было ознакомиться с строем подводной его части, дурными и хорошими ее качествами, служащими к ускорению или замедлению хода, и пр., и пр. Одним словом, все это пожертвовано было нетерпению видеть родителей, тщеславию похвалиться сражением, в котором я участвовал, и, может быть, еще рассказами о вещах, никогда мною не виденных, и о делах, никогда мною не деланных. Я любил эффекты и рассчитал (через переписку с сестрой), чтобы минута возвращения моего домой пришлась тогда, когда большое общество будет сидеть за великолепным обедом. Правда, что я был в отсутствии только три месяца; но это было мое первое плавание, и при том я видел так много и был в таких любопытных обстоятельствах.

Глава IV

Но время возвратиться домой. Что стану рассказывать я о своих подвигах? Моя выдумка должна быть, однако ж, так правдоподобна, чтобы мне поверили. Я чувствую, что язык мой для этого слишком дерзок.

Шекспир.

Доехав до так хорошо знакомого мне дома отца моего, я тихонько постучался в двери у подъезда; меня впустили, и я, не сказавши ни слова слуге, бросился в столовую прямо к тому концу стола, где сидела матушка, и заключил ее в свои объятия. Она успела только вскрикнуть: «Боже праведный! Дитя мое!» – и с ней сделалась истерика. Отец мой, наливавший себе супу, вскочил, чтоб обнять меня и помочь матушке. Все, сидевшие за столом, поднялись, подобно стаду рябчиков; одна дама испортила себе новое светло-розовое атласное платье, получивши от своей соседки толчок кончиком локотка в то самое время, когда ложка, полная супу, дотрагивалась до ее рта; маленькая собачка, Карло, подняла громкий и непрерывный лай, и в одну минуту весь приятный порядок праздника обратился в анархию и смятение.

Однако порядок был скоро восстановлен. Матушка успокоилась, отец пожал мне руку, а все гости нашли меня весьма пригожим, интересным мальчиком. Дамы уселись на своих местах, и я имел удовольствие заметить, что внезапное мое появление не лишило их аппетита. Я скоро убедил их, что в этом отношении и я не уступал им. Мичманская жизнь моя не отняла у меня вкуса к роскоши стола и не поселила к ним отвращения; я не показывал также ни малейшего затруднения или промедления, когда кто-либо из мужчин приглашал меня выпить с ним рюмку вина, и отвечать на все вопросы с таким плавным красноречием, и такими страшными горами слов, что иногда заставлял спрашивавшего сожалеть, что он обеспокоил меня разговором.

Я сделал весьма пышное описание сражения; хвалил некоторых адмиралов и капитанов за их храбрость; насмехался над другими, и обвинял нескольких в предосудительном поведении. Тогда, как и теперь, чтобы заронить убеждение в самую душу моих слушателей, я сопровождал свои сообщения клятвами, при чем батюшка посматривал серьезно, матушка грозила пальцем, мужчины смеялись, а дамы все говорили с улыбкой: «Милый мальчик! Какая живость! Какое чувство! Какая рассудительность!» А я думал про себя: «Вы самое глупое стадо чаек, какое когда-либо клевало кусок сухаря!»

На следующее утро за завтраком, когда не остыло еще впечатление недавнего приезда, я завел с отцом и с матушкой разговор о моем сундуке. По счастью, отец мой сам начал его вопросом: в каком состоянии находится мой гардероб?

– Довольно в дурном, – отвечал я, облупливая третье яйцо (у меня очень хороший аппетит за завтраком).

– Довольно в дурном! – повторил отец. – Но ты очень хорошо был снабжен всеми вещами?

– Точно так, батюшка, – сказал я, – но ведь вы не знаете, что значит военное судно, приготовляющееся к бою. Все, что не слишком горячо и не слишком тяжело, выбрасывается за борт, так же бесцеремонно, как я разламываю этот французский хлебец. – «Чей это шляпный ящик?» – «Мистера Спрата, сэр». – «Мистера Спрата? Я научу его, как прятать в другой раз получше свой шляпочник; прочь его», – и он улетел за борт с подветренного шкафута. Отец Спрата, шляпочный мастер, и поэтому мы все смеялись.

– Неужели, Франк, – сказала матушка, – и твой шляпочник полетел туда же?

– Отправился вместе, по той же дороге, уверяю вас. С слезами на глазах смотрел я на него, когда он оставался у нас за кормою, думая, как это огорчит вас.

– Ну, хорошо, а сундук, Франк, что случилось с сундуком? Ты сказал мне, что эти вандалы имеют уважение к тяжелым вещам; а зная, сколько он мне стоил, я уверен, что он имел весьма значительную тяжесть.

– Это совершенно справедливо, батюшка; но вы не знаете, как много был он облегчен в первый день отправления нашего в море. Я лежал на нем; старший лейтенант и палубный унтер-офицер спустились на низ осматривать, чиста ли жилая палуба; я и мой Ноев Ковчег были на дороге, и они споткнулись о нас. «Это что здесь?», – спросил мистер Гандстон. – „Только мистер Мильдмей и его сундук, сударь“, – отвечал солдатский унтер-офицер, заведовавший палубою. – «Только он! – повторил старший лейтенант. – Я думал, что это какой-нибудь огромный камень для нового моста, а хозяин его пьяный ирландский каменщик“. Я был слишком нездоров, для того, чтобы принять участие в их разговоре.

– Ты забываешь свой завтрак, – сказала сестра.

– Я поблагодарю тебя еще за булочку и за другую чашку кофе, – сказал я.

– Бедняжка! – сказала мать моя. – Чего он не вытерпел!

– О! Я не рассказал еще вам и половины, любезнейшая матушка; я только удивляюсь, как я остался в живых!

– В живых? Неужели! – вскричала моя тетка Юлия. – Вот мой дорогой, вот тебе маленькая безделица, чтоб пособить обзавестись вещами, которые ты потерял на службе твоему отечеству. Благородный маленький служивый! Что бы мы делали без моряков!

Я спрятал в карман небольшой подарок, состоявший в десятифунтовой ассигнации. Окончивши завтрак прибавлением ломтя окорока и половины французской булки к провизии, уже погруженной в трюм, я начал продолжать рассказ.

– Первое возражение мистера Гандстона заключалось в том, что сундук мой был слишком велик; а второе состояло в приказании «Послать ко мне плотника». – «Возьмите-ка, мистер Адз, этот сундук и убавьте у него по одному футу в вышину и ширину». – «Слушаю, сэр», – отвечал Адз. – «Ну-ка, молодой человек, вставайте и дайте мне ключ».

Как я ни был нездоров, но знал, что доказательства и просьбы были равно бесполезны; итак, я сполз с сундука и отдал ключ плотнику, который отпер его и потом осторожно, но проворно, выгрузил весь мой скарб. Мичманы все глазели вокруг. Банки с вареньем и имбирные лепешки, с таким старанием завернутые вами для меня, любезная матушка, были схвачены с жадностью и пожраны тут же при мне. Один из них запустил грязную руку свою в горшок с желе из черной смородины, которое вы дали мне от боли в горле, и поднес полную его горсть к моему рту, зная, что я находился тогда в таком состоянии, что готов был облегчиться от припадка морской болезни ему в руку.

– После этого я никогда не буду в состоянии смотреть на желе, – сказала моя сестра.

– Отвратительные скоты! – сказала тетка.

– Итак, – продолжал я, – все мои лакомства погибли, а болезненное состояние, в котором я тогда находился, заставило меня и желать, чтоб они исчезли; но когда мичманы начали смеяться и говорить без уважения о вас, милая матушка, я готов был лететь и выцарапать им глаза.

– Ничего, мой милый, – сказала матушка, – мы опять приведем все в порядок.

– Я думаю, мы и обязаны привести, – сказал отец, – Но, пожалуйста, моя милая, нельзя ли на этот раз так распорядиться, чтоб в багаже Франка не было больше ни желе, ни лепешек. Продолжай свою историю, Франк.

– Итак, батюшка, через полчаса сундук мой был уже перестроен и отдан мне; но покуда распоряжались с ним, они могли бы отнять у него еще по футу, потому что я нашел его очень просторным для помещения, оставленного грабителями. Банки с вареньями совершенно опустели, и поэтому отданы были матросам; многие другие тяжелые вещи разобраны были по

рукам, и мне стоило небольшого затруднения уложить остальное. После этого, батюшка, вы знаете, что мы вступили в сражение, и тогда сундук мой, постель и все пошло к...

– Разве они при этом случае выкидывают за борт все сундуки и все постели? – сказал отец мой, глядя мне в лицо хладнокровно и неподвижно, что поставило меня в некоторое затруднение посмотреть ему опять в глаза.

– Да, они всегда выкидывают все, попадающееся на дороге; и так как мой сундук был на дороге, то и отправлен в дорогу. Вы знаете, батюшка, что я не мог противоречить старшему лейтенанту; меня бы повесили за это на ноке рея.

– Слава Богу, что ты не противоречил, мой милый, – сказала матушка, – то, что случилось, можно поправить; но того, никогда нельзя бы было уже возвратить. А книги твои? Что сделалось с ними?

– Все отправились туда же. Они погибли близ входа в Гибралтарский пролив, кроме Библии, которую я спас, полагая, что мне удастся почитать ее в каюте накануне сражения.

– Превосходный мальчик! – воскликнули вместе матушка моя и тетка. – Я уверена, что он говорит правду.

– И я думаю так же, – сказал батюшка сухо. – Однако надобно признаться, что эти морские сражения хотя и славны для старой Англии, но составляют весьма недешевое удовольствие для родителей молодых мичманов, покуда мальчикам не свернут головы.

Не знаю, начал ли отец мой догадываться или побоялся далее расспрашивать меня, чтобы не услышать новой лжи, но меня не огорчило, когда он прекратил разговор, и я отошел с распущенным флагом.

Все требования мои были выполнены; и я думаю, выполнялись тем скорее, чем несноснее я становился. Мои морские манеры не годились для гостини. Матушка, тетушка и сестры были совсем другие женщины, чем те, которых привык я видеть на фрегате; мои божбы и обращение со слугами, мужчинами и женщинами, одним словом – все, заставило целое семейство желать моего удаления из дома. Поэтому они с удовольствием услышали об окончании моего отпуска; а я, получивши все просимое, решительно после того не заботился как скоро придется мне с ними развязаться, так что когда карета подъехала к крыльцу, я прыгнул в нее, приехал в трактир Золотого Креста, и на следующее утро явился на фрегат.

Большая часть товарищей моих встретили меня радушно и искренно, кроме Мурфи и нескольких из его задушевных приятелей. Ложь и лукавство, которыми удалось мне обмануть родителей, не заронили в душу мою никакого чувства сожаления или угрызения совести. Очевидно, что во всем рассказе моем не было и тени истины, кроме переделки и расхищения и конфискации банок с вареньем и лепешек. Справедливо также, что у меня недоставало многих вещей; но они растеряны были от собственного моего нерадения, а не выкинуты за борт. По потери мною ключа от сундука, случившегося в первый день поступления на фрегат, быстрое уменьшение моего имущества убедило старшего лейтенанта, что достаточно будет гораздо меньшее хранилище для оставшихся вещей, и это была единственная причина, почему сундук мой был укорочен.

Свое новое платье я повез в ящике, показавшемся мне очень уютным, и дал слово содержать его в большем порядке, нежели прежний. Деньги, полученные мною на покупку постели, были припрятаны, и вообще я сделался гораздо смысленнее. Я увидел, например, что мичманам, одевавшимся лучше других, давали всегда самые приятные поручения. Вскоре я послан был привезти общество дам, приехавших посмотреть фрегат и приглашение обедать с капитаном и офицерами. Я имел довольно хорошие приемы в обращении, и меня находили очень милым мальчиком; и хотя по возрасту своему я был весьма возмужалый, но дамы допускали меня до больших вольностей, под предлогом, что я был еще милый маленький шалун, мичманок, еще совершенно невинный. Дело в том, что я гораздо лучше вел себя на фрегате, нежели в доме отца моего, – вот что значит дисциплина; впрочем, такова была лишь внешность. Отец

мой был человек с дарованиями и знал свет, но он ничего не знал о морской службе, и когда я вывел его на глубину, превышавшую его, я начал забавляться им точно так, как забавлялся учительским помощником, то есть, погружал его вместе с гостями вниз головой в водопойный пруд собственного неведения. Вот каково преимущество хитрости и знания местности перед образованностью и опытностью!

Новые успехи в городе так ободрили меня, что моя самонадеянность возросла до невероятной степени. Притворная искренность, смелость и проворство пустили в ход фальшивую монету, которую чеканили мои умственные способности, и она была в гораздо высшем курсе, нежели скучная правда недалёковидных моих товарищей.

О днях моего детства я говорил довольно. Приключения мичмана в продолжение трех лет его испытательной жизни, если будут подробно рассказаны, могут поселить более отвращения, нежели занять собой, и скорее развратить, нежели наставить. Поэтому я перехожу к шестнадцатилетнему возрасту, когда особа моя приняла наружный вид, дававший мне полную причину гордиться им, в особенности же с тех пор, когда я начал слышать беспрестанно себе панегирики от прекрасного пола, и когда приговор их подтверждался даже и моими товарищами.

Рассудок мой никогда не противоречил мне, когда дело касалось какого-нибудь приобретения, кроме нравственного и религиозного. Увы! Тут я делался с каждым днем более и более несовершенно, и на некоторое время терял оба эти пути вовсе из виду. Мужественное, атлетическое сложение и благородная наружность, какую благословило меня Провидение, служили только, чтоб сделать меня похожим на раскрашенный гроб – все было нечистотой внутри его. Подобно красивой змее, которой ядовитость скрывается под золотой и лазурной чешуей, мой внутренний человек был составлен из гордости, мщенья, обмана и самолюбия, и лучшие мои дарования были вообще обращены на самые дурные намерения и поступки.

В приобретении сведений, относящихся до моей службы, я делал быстрые успехи, потому что находил в них удовольствие и потому что рассудок мой, проворный и гибкий, как и мое тело, требовал учебных занятий и питался ими. Вскоре я сделался искусным практическим моряком, достигнув всего этого своим прилежанием. Мы не имели учителя; и когда другие младшие мичманы получали наставления от старших, как производить обыкновенные дневные работы, я, будучи нелюбим и отвергнут последними, не допускался до их лекций. Поэтому я решился сам заполнить пробел, в чем помогли мне прежние хорошие познания, полученные в училище. Я имел основательные сведения в математике и потому имел большое преимущество пред моими товарищами.

Самого большого труда стоило мне возбудить в себе охоту к учению после нескольких месяцев праздности. Однако ж, я достиг этого, и пробывши один год в море, вел хорошо счисление, и дневные работы свои представлял капитану. Недосток в учительской помощи, ощущавшийся мною сначала при изучении навигации, обратился мне в большую пользу. Я принужден был учиться прилежнее и стараться понимать причины, на которых основываются теоретические выводы, так что мог доказать все формулы с математическою отчетливостью, между тем, как другие, занимавшиеся поверхностно, могли только буквально повторять их и слепо на них основываться.

Гордость, внушая мне желание перегнуть старших и выказать их невежество, заставляла меня усилить мое прилежание. Книги, о которых я сказал отцу моему, что они погибли, были подняты со дна сундука, и я принялся читать их с жадностью; многие другие я доставал от офицеров, и должен сказать, что они не только давали мне их с удовольствием, но и предлагали свои каюты для занятий.

Таким образом я получил вкус к чтению, и возобновил знакомство с классическими авторами. Гораций и Вергилий, не строго нравственные, но занимательные, обратили меня к латинскому языку и, ослабляя мою нравственность, утвердили меня в знании мертвых языков. Была

ли такая мена выгодна, или нет, я предоставлял решить это головам умнее моей; а мое дело сказать только то, что было.

Итак, когда низкая злость старших мичманов старалась вредить мне, оставляя меня в невежестве, она, напротив того, сделала мне величайшую услугу, предоставив меня собственным моим средствам. Я во все время не переставал быть в тех хороших отношениях с моими сослуживцами, но у некоторых из офицеров был по-прежнему в не милости, и меня по-прежнему не любили старшие в кают-компании. Зато я был любимец младших мичманов и формарсовых. Я был горд и не хотел быть тираном, и то же самое чувство не позволяло мне покоряться тирании. Телесная сила моя и рост беспрестанно увеличивались, и вместе с ними выростала и дерзость. Частые схватки с мальчиками одних со мною лет (потому что и лучшие приятели ссорятся иногда) и с сверхкомплектными мичманами, присылавшимися на фрегат для перевода, обыкновенно кончались утверждением моего владычества или упрочивали для меня мирный нейтралитет.

Я сделался ученым боксером, и тогда, как и теперь, щетинился против старших. Я выказывал такую отвагу, что враги мои, хотя и побеждали меня, но начали осторожнее возобновлять со мной распри, видя, как исход их с каждым днем делался для них все неблагоприятнее, покуда, наконец, у меня, как у львенка, забава перестала быть шуткой и меня оставили наслаждаться тем спокойствием, нарушение которого немногие находили для себя безопасным и удобным. Постепенно восстановлено было равновесие власти, и даже самого Мурфи я заставил быть в учтивом молчании.

Вдобавок к этому увеличению телесной силы, сделавшейся известной всем на судне, я приобрел еще гораздо большее преимущество пред товарищами своим воспитанием, и особенно старался заставлять их чувствовать это при всяком случае. Ко мне обращались во всех литературных спорах и с общего согласия предоставляли решать, на чьей стороне была справедливость. Меня называли хорошим собеседником. Но, однако ж, это не всегда служит к пользе обладателя такого таланта, ибо нередко бывает, как бывало и со мной, что это вовлекает в не приятности. Я имел приятный голос и играл на двух инструментах; это доставляло мне частые приглашения в кают-компанию и извинения в уклонении от вахты. Привык я также к употреблению вина и грога в большем количестве, нежели сколько можно было их употреблять, и к разговорам, которых мне было бы лучше никогда не слышать.

Фрегату нашему приказано было крейсировать у французского берега, и так как бывший на рейде адмирал имел неудовольствие с нашим капитаном, то и побожился, что непременно выпроводит нас в море, готовы ли мы или нет. Нам сделан был сигнал – сняться с якоря, в то время, когда плашкоуты с провизией и портовое судно с порохом для фрегата стояли у бортов; шканечные орудия были все отодвинуты и даже не оснащены. Пушка за пушкой с «Рояль-Вильяма», вместе с сигналом идти нам с рейда, повторялись «Гладиатором», на котором висел флаг портового адмирала.

Капитан, не зная, в каком виде вся эта история передается телеграфом в Лондон, и чувствуя, может быть, что он слишком положился на старшего лейтенанта, как говорится, схватил корабль за ворот – снялся с фертоинга, свалил все вещи с плашкоутов на палубу, – отослал всех женщин с фрегата, исключая пяти или шести самых негодных, и при свежем северном ветре спустился к Ямутским рейдам и мимо Нидельсов в море, в таком замешательстве и расстройстве, которых я надеюсь никогда не увидеть в другой раз.

Контр-адмирал Гуррикан Гумбук стоял в это время на пушечном станке, глядя на нас (как я после слышал) и восклицая:

– А, черт его побери (разумея нашего капитана), наконец-то, он убрался! Я боялся, что этот молодец съест всю свою провизию прежде, нежели мы можем заставить его уйти!

«Тише едешь, дальше будешь» – это чаще бывает справедливо в морских делах, нежели в других случаях жизни. Нам пришлось испытать это едва не к гибели фрегата. Если бы мы

встретились с неприятелем, то должны бы были или обесславить свой флаг, обратившись в бегство, или сдаться.

Только что успели мы обогнуть Нидельсы, как наступила ночь, а с нею вместе свежий ветер от норд-норд-веста. Офицеры и команды работали до четырех часов утра, принайтывая шлюпки, ростры и якоря, очищая палубу от провизии и обтягивая верхний такелаж, до того начавший ослабевать от качки, что грозил потерей рангоута; с большими усилиями успели мы все это исполнить, и пушки закреплены были прежде, нежели ветер засвежел до урагана.

На следующее утро около девяти часов, упал за борт морской солдат. Несколько смелых матросов немедленно бросились в одну из бывших на бокансах шлюпок и просили спустить их для спасения упавшего. Но капитан хладнокровно рассудил, что не стоит рисковать потерей семерых, чтоб спасти одного, и потому бедняк оставлен был на произвол судьбы. Правда, фрегат привели к ветру, но его дрейфовало гораздо скорее, нежели несчастный мог плыть, хотя он был один из лучших пловцов, каких когда-либо мне удавалось видеть.

Сердце мое раздиралось при виде мужественных, но бесполезных усилий, делаемых этим лихим юношею, старавшимся добраться до судна, что служило только к продлению его мучений. Мы видели его за милю на ветре, то торчащего на вершине горообразной волны, то погруженного в глубокую впадину, образованную ею, покуда, наконец, вовсе перестали его видеть. В это время я считал капитана жестоким за недозволение спустить шлюпку; но опыт убедил меня впоследствии, что он действовал под давлением необходимости и из двух зол избрал меньшее.

Судьба этого молодого человека послужила мне важным предостережением. От упражнения я сделался чрезвычайно проворен, и так любил выказывать свою новоприобретенную гимнастику, называемую матросами «sky-larking»⁷, что старые урядники и даже офицеры часто предсказывали мне падение за борт. Мне, очевидно, предстояло или утонуть, или сломать себе шею; в особенности я рисковал на последнее, ползая по веревкам вверх и вниз, как обезьяна. Немногие из марсовых могли равняться со мною в проворстве, а еще менее было таких, которые превосходили меня в удалстве. Я мог бегать по марсареям без леера, переходить с одной мачты на другую по штагам, или спускаться на палубу в мгновение ока по марсафалу, и, сознавая себя искусным пловцом, не боялся утонуть; но когда стал свидетелем участи бедного солдата, умевшего плавать также, если не лучше меня, я сделался гораздо осторожнее, ибо удостоверился, что могут быть обстоятельства, в которых умение плавать не поможет, и что, как бы я ни был любим матроса ми, но, несмотря на всю их готовность спасти меня не всегда во власти их сделать это. С того времени я гораздо меньше рисковал собой, когда находился наверху.

Обстоятельство, случившееся вскоре по уходе нашем в море, доставило мне несказанное удовольствие. Мурфи, по наклонности своей задевать всякого, кого он надеялся одолеть, затеял ссору с одним весьма скромным и благовоспитанным молодым человеком, сверхкомплектным мичманом, прибывшим к нам на фрегат для доставки на свое судно, бывшее тогда в Бискайском заливе. Молодой человек, желая отомстить за неприличный поступок, вызвал Мурфи на бой, и вызов был принят; но так как мичман приглашен был обедать к капитану, то предложил драться после обеда, не желая явиться к капитанскому столу с синяком под глазом. Мурфи принял это за уклонение, прибавил еще больше оскорблений, говоря, что противник его верно нуждается в голландской храбрости⁸, и что если он во время обеда не закатит порядком за галстук, то вовсе не выйдет на бой.

Благоразумный молодой человек не возражал на подобное оскорбление, но оделся и пошел к обеду. После стола и после вечерней переключки он позвал Мурфи в констапельскую и так хорошо его отпотчивал, как тот еще никогда не был бит во всю свою жизнь. Сражение или

⁷ Sky-larking называются разного рода прыжки и смелые переходы по веревкам, реям, мачтам и пр., делаемые матросами и в особенности юнгами, для показания удалства, нередко опасные и плохо оканчивающиеся.

⁸ Dutch courage – голландской храбростью англичане называют такую, для возбуждения которой прибегают к вину.

«вставление фонарей» продолжалось только четверть часа. Молодой мичман выказал столько искусства и такое совершенное знание бокса, что мог нисколько не бояться звериной силы своего противника, которому он не позволял даже тронуть себя, и который рад был убраться в каюту, сопровождаемый криками и свистом всех мичманов, к чему я присоединился от всей души.

Такое очевидное доказательство преимущества искусства самозащиты заставило меня познакомиться с нею; и я, взявши себе в наставники молодого нашего гостя, скоро научился искусству боксирования, и был в состоянии одержать верх над Мурфи и его единомышленниками.

Откровенно признаюсь, что в числе обязанностей моих была одна такая, которую я ненавидел – это стоять ночью на вахте. Я любил поспать, и после десяти часов никак не мог держать глаза раскрытыми. Ни ведра воды, в изобилии выливаемые мичманами мне на голову, под забавным названием «пускать фонтаны», ни несколько выговоров и наказаний, сделанных мне старшим лейтенантом, не могли пробудить моих засыпающих сил, по прошествии первой половины вахты. Я был один из самых упорных почитателей бога сна, и твердо переносил за него всякого рода гонения. Старший лейтенант взял меня в свою вахту и испытывал все способы, ласковые и строгие, чтоб отучить меня от этой дурной привычки; но я всегда ускользал от него и забивался в какой-нибудь уголок, где просыпал остаток вахты; а на следующее утро регулярно был сажаем на салинг, дабы приносить покаяние в продолжение большей части дня за дела, совершенные во тьме ночной. Я полагаю, что в эти два первые года службы, по крайней мере половина моих часов бодрствования проведена была на салинге.

Я старался, однако ж, запастись книгами и вообще времяпрепровождением на салинге с большею, может быть, для себя пользой, нежели в мичманской каюте. Гендстон, хотя и строгий служака, был благородный человек; он весьма заботился о молодых офицерах на судне; поэтому ему стоило большого труда учить и исправлять их. Он часто делал мне увещания в неприличности моего поведения, и всегдашний ответ мой был, что я столько ж чувствую это, как и он, но не могу преодолеть себя; что заслуживаю все делаемые мне наказания, и совершенно предаю себя его власти. Он часто призывал меня на наветренную сторону шканец, когда намерен был поговорить со мной о каком-нибудь предмете, могущем, по его мнению, занять или позабавить меня. Видя, что я порядочно знал историю, он спрашивал мое мнение, и говорил мне свое с большою обдуманностью и здравым суждением. Но столь непреодолима была тяжесть век моих, что часто, когда он был в половине длинной своей диссертации, я прислонялся к шкафутному трапу и засыпал, оставляя его оканчивать свои рацеи ветру.

В таких случаях я был строже наказываем, нежели в других, потому что присоединял к нерадению по службе невнимание к его званию и к делаемым мне наставлениям. Гнев его также значительно увеличивался, когда он узнавал о моем сне по смеху мичманов и урядников на баке.

В один вечер я довершил его немилость ко мне, хотя при этом обстоятельстве очень многое можно бы сказать в мою пользу. Он послал меня на фор-салинг в семь часов утра, и был так бесчувствен, или может быть забывчив, что продержал меня там целый день. Когда он спустился обедать, я спустился с салинга на марс, сделал себе постель из брамлисея и, сказавши матросу, бывшему дозорным, чтоб он разбудил меня прежде, нежели лейтенант выйдет наверх, сам преспокойно на чал приготовляться к жертвоприношению моему любимому боже-ству, сну. Но часовой не увидал, когда лейтенант вышел наверх, и он поймал меня спящим, когда только что стемнело, и когда ему вздумалось сделать мне честь – вспомнить, где он меня оставил. Посмотревши на салинг, он позвал меня.

Подобно Мильтоновым диаволам, которые «найжены были спящими тем, кого они страшились», я вспрыгнул и добрался до своего места по топенанту, полагая, или скорее надеясь,

что он не увидит меня за мачтой в тем ноте вечера; но у него были рысьи глаза, но зато не было смысла, чтоб не видеть того, чего он не должен бы видеть.

Он окликнул трех человек на марсе и спросил у них, где я был? – Они отвечали: на салинге.

– Что! – возразил Гендстон, присовокупив крепкую ругань, – разве я не видел, как он сию минуту подымался по марса-топенанту?

– Никак нет, – отвечали люди. – Он и теперь еще спит на салинге.

– Подите-ка вниз, обманщики; подите-ка все трое, – сказал лейтенант. – Я научу вас говорить мне правду.

В продолжение этого времени я опять преспокойно уселся на салинге, как будто ни в чем не бывало, но получил приказание сойти вместе с матросами, и мы, все четверо, предстали на шканцах, где нам сделаны были следующие вопросы:

– Слушай, любезный, – сказал старший лейтенант марсовому унтер-офицеру, – как смеешь ты говорить мне, что этот молодой человек был на салинге, когда я сам видел, как он подымался по марса-топенанту?

Мне жаль было людей, желавших спасти меня, и чрез то подвергавшихся беде; но только что приготовился я сказать правду и принять всю вину на себя, как, к крайнему моему удивлению, унтер-офицер смело отвечал:

– Он был на салинге, сударь, по чести.

– По твоей чести! – вскричал лейтенант с презрением; потом, обратившись к другим людям, сделал каждому из них такой же вопрос, и получил те же положительные ответы, так что я начинал думать, что мне только грезилось, будто я был на марсе. Наконец, обратившись ко мне, он сказал:

– Теперь, сэр, я спрашиваю вас, скажите мне по чести, как благородный человек и служивый, где были вы, когда я окликнул вас в первый раз?

– На салинге, сэр.

– Пусть будет так, – возразил он. – Я обязан вам верить, как будущему офицеру и благородному человеку.

Потом, поворотившись на пятках, ушел от нас в таком гневе, в каком я еще никогда его не видывал.

Очевидно было, что лейтенант мне не поверил, и я потерял хорошее его обо мне мнение. Но разбирая обстоятельство беспристрастно и справедливо, скажите, как должен был я поступить иначе? Меня слишком долго продержали на салинге – столько времени, сколько надобно, чтобы переехать из Лондона в Бат в почтовой карете. Я остался без обеда, и эти добрые люди, желая спасти меня от дальнейшего наказания, добровольно подверглись линькам, говоря явную ложь в мое оправдание. Если бы я не поддержал их, они без сомнения были бы высечены, и я уронил бы себя во мнении каждого на судне. Это самое и привело меня к такому парадоксальному заключению, что, как честный и благородный человек, я обязан был сказать ложь, чтобы спасти тем бедных матросов от жестокого наказания.

Я знаю, что тут дело идет о тонкости, которая должна быть представлена на рассмотрение в заседание каких-нибудь юристов; и хотя я ни в каком случае не считал себя твердым и упорным мучеником строгой добродетели, но в этом разе в особенности не замедлил бы сказать правду, если б только я один должен был пострадать. Лейтенанта можно было упрекнуть, во-первых, в слишком большой строгости, а во-вторых, в слишком подробном расследовании обстоятельства, которое не стоило этого труда. Однако совесть моя упрекала меня, и когда гнев лейтенанта настолько остыл, что можно было надеяться на прощение матросов, я воспользовался первым удобным случаем и объяснил ему причину моего поступка и тяжелое положение, в котором я находился. Извинение мое он принял холодно, и наши дружеские отношения прекратились.

Капитан наш, человек предприимчивого и отважного десятка, затеял снимать неприятельские пикеты на французском берегу. Мне задумалось прыгнуть в одну из наших шлюпок, назначенных в эту экспедицию и отправлявшихся с остальными людьми десанта; наши вы шли на берег и внезапно напали на батарею, которую срыли, а пушки заклепали. Французские солдаты обратились в бегство, и мы разграбили несколько бедных рыбацких хижин. Я был вместе с другими в надежде что-нибудь поймать. Увидевши большой величины ската, лежащего с раскрытым ртом, я запустил в него четыре свои пальца, желая утащить его с собой; животное не было еще мертво и, сжавши челюсти, прокусило мне пальцы до костей: это было единственное кровопролитие в тот раз.

Хотя я был сам не особенно нравственный юноша, но с прискорбием смотрел на страсть наших матросов к грабежу. Матросы брали вещи совершенно для них бесполезные и, пронеся их некоторое расстояние, бросали, чтобы взять другие, такие же бесполезные. С тех пор я часто рассуждал, как справедливо был наказан за эту преступную страсть, и как бессердечно налагаем мы ужасы войны на этих несчастных мирных созданий.

Последующее затем покушение наше было гораздо важнее и нанесло еще большие бедствия беззащитным и трудолюбивым жителям, этим всегдашним жертвам войны, в то время как те, которые затеяли ее, спокойно и безопасно отдыхали на своих пуховиках.

Глава V

*Жизнь моя уже измерена;
Сопутствуйте мне, как добрые ангелы, сопутствуйте мне до
конца.*

Генрих VIII.

*Опасность, подобно пароксизму лихорадки, тихо подкрадывается
Даже и тогда, когда мы беспечно греемся на солнце.*

Троил и Крессида.

После этого несчастного происшествия на салинге я никогда не был в состоянии вернуть себе доверенности и уважения старшего лейтенанта. Он был превосходный и благородный офицер и, следовательно, тем более не в состоянии был простить мне поступок, в котором видел нарушение чести; а это заставило меня быть довольным разлукой с ним, последовавшей вскоре. Мы гнались за судном в Аркассонской Губе, но оно по обыкновению укрылось под батареей; а капитан наш, как водится обыкновенно у нас, хотел «вырезать» его.

Для этого были вооружены наши шлюпки, на них назначены люди, и сделаны все приготовления к нападению на следующее утро. Начальство над экспедицией было поручено старшему лейтенанту, который охотно принял его и пошел спать в веселом расположении духа, рассчитывая наперед, какая честь и награды встретят его с завтрашним рассветом. Он в полном смысле был храбр и хладнокровен в деле, так что люди сопровождали его с уверенностью, как на верную победу. Дурные ли сны разрушили его спокойствие или размышление о трудности и опасности этого рода экспедиции заставило его призадуматься, но только поутру все мы заметили в расположении его духа значительную перемену. Горячность его простыла, он ходил по шканцам медленными и мерными шагами, очевидно в глубоком раздумье, и был молчалив, задумчив, сух и невнимателен к разным своим обязанностям по фрегату, чего с ним прежде не случалось.

Люди, назначенные в экспедицию, были уже на гребных судах; офицеры сидели по своим местам; глаза молодых воинов блистали бодростью, и мы ожидали только мистера Гендстона, который все еще ходил по шканцам, погруженный в свою задумчивость. Наконец, капитан вызвал его из этого состояния, спросивши его голосом более, нежели обыкновенно, громким, намерен ли он принять начальство над экспедицией?

– О, конечно, – отвечал он и твердым, бодрым шагом перешел через шканцы и спустился в шлюпку.

Я следовал за ним и сел возле него; он смотрел на меня с холодностью, в которой видно было какое-то предчувствие, и если бы был в обыкновенном своем расположении духа, наверное приказал бы мне пересест в другую шлюпку. Мы долго гребли, покуда достигли предмета нашего нападения, стоявшего на якоре под самым берегом и хорошо подготовившегося к встрече. Для первого приветствия пустили в нас картечью со всего борта. Это произвело на наших людей такое же действие, как шпоры на горячую лошадь. Мы подгребли к борту и начали влезать на судно, кто как мог. В один миг к Гендстону вернулось упавшее воодушевление; он ободрял людей и с криком ура и обнаженною саблей в руке полез на судно. Люди, обдаваемые залпами из ружей, следовали за своим неустрашимым предводителем.

В нашей шлюпке, первой приставшей к судну, легло одиннадцать человек убитыми и ранеными. Несмотря на это, лейтенант прыгнул на борт судна. Я последовал за ним, но лишь только соскочил он с трапа на палубу, и прежде чем я успел поднять тесак для его защиты,

он задом упал на меня, сбил меня с ног и в минуту испустил дух. В нем оказалось тринадцать ружейных пуль в животе и груди.

Сослуживцы мои, горя желанием завладеть призом и отомстить за нас, бросились на него с непобедимой храбростью и, прежде, чем я успел освободиться из этого положения, начали переступать через меня и почти задавили ногами. Меня считали убитым и так обходились со мной, потому что бедное тело мое служило вместо ступеньки для схода, когда трап был изломан. Я лежал на этом месте в обмороке, почти задушенный кровью моего храброго командира, на груди которого лежало лицо мое. Рука моя завернута была на затылок, чтобы хоть сколько-нибудь предохранить череп от подошв наших храбрецов и неприятельских сабель. Когда я был еще в памяти, мне казалось, что выгоднее оставаться на том месте, где я лежал, и что перемена положения не послужит к лучшему.

Минут через восемь наши завладели призом, хотя мне, в моем отчаянном положении, время это показалось гораздо долее. Прежде чем я очнулся от обморока, и прежде чем возвратились мне чувства, судно было уже под парусами и вне батарейных выстрелов.

Первые минуты отдыха после этой сечи употреблены были на осмотр убитых и раненых. Меня причислили к первым и положили между пушек, около старшего лейтенанта и других мертвых тел. Свежий ветерок, дувший в порте, несколько оживил меня; но я, все еще слабый и больной, не имел ни силы, ни желания двигаться; рассудок мой затмился; я не мог припомнить себе, что со мной случилось, и продолжал лежать в одурении, покуда приз не пришел к фрегату. Тогда я был пробужден громкими ура и криками поздравлений победителям от оставшихся на нем.

К нам немедленно прислана была шлюпка с лекарем и лекарским помощником для осмотра убитых и подания помощи раненым. Мурфи приехал на ней. Он не был в абордажной партии и, видя, что меня сочли за мертвого, толкнул слегка ногой, говоря при этом:

– Вот молодой петушок, который перестал петь! Но право, мне удивительно, как славно этот мальчик надул виселицу!

Голоса ненавистного мне человека было достаточно, чтобы вызвать меня из гроба, если бы я действительно был убит. Слабым голосом я отвечал ему: «Ты лжешь!» «И слова эти, несмотря на печальную сцену, окружавшую нас, заставили посмеяться на его счет. Меня отправили на фрегат, положили в постель, пустили кровь, и я скоро в состоянии был рассказать подробности моего приключения; но долго оставался опасно болен.

Слова Мурфи, сказанные им над моим телом, считавшимся мертвым, и лаконическое мое возражение были поводом к частым шуткам на фрегате. Мичманы надоедали ему, уверяя, что он спас мне жизнь, ибо один только презираемый мною голос его мог пробудить меня от сна смерти.

Судьба старшего лейтенанта равно опечалила всех нас, хотя я должен сознаться, что внутренне приносил мою благодарность Провидению, когда оно как в этом, так и в бывшем перед этим случае, навсегда избавило меня от свидетелей моей слабости. Я видел, что не было никакой возможности получить опять прежнее расположение лейтенанта, и потому считал за лучшее навсегда с ним распрощаться. Очевидно, что он имел сильное предчувствие своей смерти, и хотя я прежде часто слышал о существовании таких предчувствий, но никогда не убеждался в этом так сильно, как при этом случае.

Призовое судно называлось «L'Aimable Julie»; оно нагружено было кофеем, хлопчатой бумагой и индиго; имело четырнадцать пушек и в начале сражения сорок семь человек, из которых восемь было убито, а шестнадцать ранено.

Случилось так, что мы пришли в Спитгед вместе с своим призом, и капитан наш был поэтому радушно встречен адмиралом.

Представленный им «Мясниковский билль», то есть список убитых и раненых, и ведомость об исправлениях были препровождены в адмиралтейство, и в ответ получено по почте

предписание изготовиться для заграничной стоянки. Хотя никто на фрегате, даже, как полагали, и сам капитан, не знал нашего назначения, но красавицы в Спитгедде уверяли нас, что мы пойдем в Средиземное море, и это оказалось справедливым.

На приготовления к новому походу мы имели в распоряжении всего лишь несколько дней; в это время я писал батюшке и матушке и с ответом получил все просимое, то есть, денежный чек. О получении его я, как следует, уведомил их, но фрегат уже снимался с якоря. Мы отправились в путь и вскоре благополучно прибыли в Гибралтар, где застали общее приказание всем судам, приходящим туда из Англии, отправляться для соединения с адмиралом в Мальту. В несколько часов мы налились водой и взяли провизию, но не с такою поспешностью шли в Мальту, с какой шли к Гибралтару. Мы придерживались испанского берега, в надежде поживиться там чем-нибудь, и тем обеспечить для себя такой же радушный прием в Ля-Валетте, какой встретили мы в последний приход наш в Портсмут.

Рано утром на следующий день мы прошли мыс Гаэту, а к вечеру увидели четыре судна по направлению ветра и под самым берегом. Ветер был тихий, и мы пустились в погоню за всеми судами; но долго не могли их догнать, а к вечеру сделался штиль. Тогда посланы были гребные суда в погоню за ними; отвалив, мы начали держать не прямо по направлениям их курсов, а несколько сворачивая в сторону, чтобы вернее сойтись с ними. Я был со штурманом в гичке, и так как она ходила лучше прочих гребных судов, то мы скоро нагнали одну из фелюк и открыли по ней ружейный огонь; тихий ветер не позволял ей привести; мы прицелились в рулевого и попали в него. Он перевел только руль из правой руки в левую и продолжал идти своим курсом. Мы не переставали палить по этому неустрашимому человеку, хотя я чувствовал, что такое нападение похоже было на грубое убийство, ибо он не сопротивлялся, а старался только уйти.

Наконец мы подъехали к корме и зацепились за нее шлюпочным крюком. Испанцы отцепили его, и так как весла были у нас убраны, шлюпку нашу отнесло за корму; но в это время ветер совершенно стих: мы опять подгребли к судну и завладели им. Бедняк все еще стоял на руле, и кровь ручьем текла с него. Мы оказали ему всевозможную помощь и спросили, почему он не сдавался раньше. В ответ на это он сказал нам, что он старый кастилец. Полагал ли он заблаговременную сдачу бесчестьем или, основываясь на прежних своих опытах, решил стараться уходить до последней минуты, я не могу сказать; но наверное знаю, что никто не вел себя лучше его, и готов был пожертвовать всем на свете, лишь бы только излечить раны этого терпеливого, смиренного, неустрашимого старика, не произносившего ни одной жалобы и покорившегося своей судьбе с величием души, достойным самого Сократа. Он был ранен четырьмя ружейными пулями в разные места и пережил свой плен весьма немногими часами.

К удивлению нашему, мы узнали, что это судно, равно как и три остальные, из которых одно взято было другою нашей шлюпкой, шли из Лимы и пять месяцев находились в пути. Они были одномачтовые и около тридцати тонн каждое; имели по двенадцати человек команды; нагружены были медью, кожами, воском и кошенилью; отправлялись в Валенсию и были от нее только на суточный переход, когда мы взяли их. Вот какова участь войны! Этот храбрый человек после долгого плаванья, сопряженного с неимоверными трудами и опасностями, готовился через несколько часов обнять свое семейство и порадовать сердца их прибылью, доставленной ему его благородным трудолюбием и удачным исполнением предприятия, как в одну минуту все надежды его были разрушены нашим законным убийством и грабежом, и наши призовые деньги пришли нам в карманы, сопровождаемые слезами, если не проклятиями, вдов и сирот!

Известия, полученные нашим капитаном от призовых судов, заставили его идти к Балеарским островам. Мы прошли мимо Ивики, и потом пустились в Пальмскую бухту на острове Майорка; но к крайнему огорчению нашему, не нашедши там ничего, продолжали огибать остров.

Тут случилось с нами одно из самых странных происшествий, которому едва можно поверить; но оно в самом деле случилось, и вся команда фрегата была тому свидетелем. В один

особенно хороший день и при тихой воде, капитан, желая испытать дальность полетов из орудий батарейной палубы, длинных 18-футовых пушек, приказал артиллерийскому унтер-офицеру выпалить из одной на элевацию в берег, бывший тогда от нас в расстоянии полутора миль. Артиллерист спросил: не прикажет ли он навести орудие на какой-нибудь предмет. На белом песчаном берегу видели мы тогда идущего человека, как точку, черневшую перед нами вдаль; казалось совершенно невозможным попасть в него, и поэтому капитан приказал артиллерийскому унтер-офицеру навести на него; он навел и человек провалился. В это время мы увидели стадо молодых быков, выходящих из леса, и поэтому посланы были шлюпки настрелять их для команды.

Сошедши на берег, мы нашли, что ядро перерезало неожиданную свою жертву пополам, и обстоятельство это показалось нам тем более странным, что убитый человек принадлежал не простому сословию. Он был хорошо одет, имел на себе черные брюки и шелковые чулки, читал Овидиевы Превращения, и книга была еще в руке его, когда я брал ее.

Мы часто слышим о чудном действии выстрелов наудачу; но никак нельзя было полагать, чтобы это проклятое ядро могло хватить так далеко и сделать так много вреда. Мы погребли тело несчастного дворянина в песке и, выбравши из стада двух или трех быков, застрелили их, сняли шкуру, разделили по частям, погрузили в шлюпки и возвратились на фрегат.

Я взял книгу из рук покойника, снял с шеи его миниатюрный портрет женщины прекрасной наружности и вынул запонку из рубахи. Все эти вещи я представил капитану, донеся ему о случившемся; но он возвратил мне их с просьбою хранить у себя, куда случай приведет меня встретиться с кем-нибудь из друзей покойного и вручить их. Он так огорчен был этим происшествием, что мы никогда больше не напоминали ему о нем и в течение времени служения нашего вместе, оно было почти забыто. Вещи эти долгое время находились у меня, пока пришлось вспомнить о них.

Через два дня после того, мы встретились с судном, показавшимся весьма подозрительным, и по случаю наступившего маловетрия, посланы были шлюпки в погоню за ним. Приблизившись, мы увидели, что это была шебека под французским флагом; но она вскоре спустила флаг и не поднимала другого. Когда мы подгребли к ней на расстояние оклика, нам кричали не подъезжать ближе, или станут палить по нас, если мы будем стараться пристать. Подобное приветствие не может устроить британского офицера, в особенности же таких огнеедов, каковы были наши. Итак, мы приблизились к шебеке; тут началась отчаянная сеча, потому что с обеих сторон было почти равное число сражавшихся; причем неприятель имел еще преимущество, находясь на палубе и будучи защищаем бортами. Однако мы взобрались на судно и в несколько минут завладели им, с потерей с своей стороны шестнадцать человек, а со стороны противников двадцати шести человек убитыми и ранеными.

Но каково же было наше огорчение, когда мы узнали, что с пролитием своей крови проливали кровь не врагов. Судно было гibraltarский привати́р; оно сочло нас за французов, потому что весла наши были обмотаны войлоком, по французскому обыкновению; а мы полагали его французским по флагу и языку, на котором он окликал нас. В этом деле мы имели убитыми и ранеными трех офицеров и несколько лучших наших матросов. Команда привати́ра составлена была из людей всех наций, но по большей части из греков; и хотя он имел на показ свидетельство за подписью гibraltarского губернатора, но, как казалось, не имел привычки рассматривать флаг всякого попадавшегося ему судна.

После этой несчастной ошибки мы пошли прямо в Мальту; капитан ожидал себе строгого выговора от адмирала за безрассудное отправление шлюпок для нападения на судно, которого сила была ему неизвестна. По счастью, мы не застали там адмирала, и прежде нежели с ним встретились, так увеличили число своих призов, что оно показалось на глазах его достаточным для прикрытия множества грехов наших. Случай этот так и прошел без возмездия.

Когда мы стояли в Мальте, мой приятель Мурфи, однажды ночью упал за борт и именно в то время, когда все шлюпки были подняты; он не умел плавать и наверное утонул бы, если бы я не бросился к нему и не удержал его, пока спустили шлюпку и послали к нам на помощь. Офицеры и команда хвалили меня за этот поступок более, нежели сколько я того заслуживал. Спасти человека в таких обстоятельствах, говорили они, было поступком благородным; но рисковать своей жизнью для спасения того, который всегда, с первого поступления моего на фрегат, считался злейшим моим врагом, было свыше их ожидания и без сомнения благороднейшим мщением, какое я только мог сделать. Но они обманывались во мне; они не знали меня. Я кинулся на помощь из одного тщеславия и желания обременить моего врага невыносимой тягостью благодарности, которую он был мне обязан; сверх того, когда я стоял на шкафуте, смотря на борьбу его со смертью, я чувствовал, что с погибелью его потеряю возможность осуществить когда-нибудь свое мщение, так долго мною ему приготовляемое; одним словом, я не мог не отмстить ему, и спас его только затем, чтобы мучить потом.

Мурфи изъявлял мне свою благодарность, и говорил об ужасах смерти, висевшей над ним; но в несколько дней позабыл все, что мною для него было сделано и принялся опять за прежнее и дал мне случай восторжествовать. Из-за каких-то пустяков бросил мне в лицо чашку с нечистой водой, когда я проходил по констапельской; этим он подал мне прекрасный случай выполнить мщение, которое я так лелеял. Я долго искал случая поспорить с ним, но так как во время перехода нашего из Гибралтара в Мальту, он был нездоров, я не мог ни к чему придраться. В то время он совсем выздоровел и оправился, и я удивил его, нанеся ему первый удар.

Началось побоище; я присоединял все свои ученые сведения к телесной силе и к воспоминанию прежних моих обид. Должно отдать противнику моему справедливость, что он никогда не оказывал более ловкости; впрочем, ему и надобно было хорошо сражаться, потому что если б я был побит, то со мной случилось бы только то, что случалось и прежде, а если он, так это дело совсем иное. Павший тиран не имеет друзей. Раздраженный до бешенства удачными ударами, которые я посылал ему в лицо, он горячился, между тем, как я оставался хладнокровным; он дрался отчаянно; я отбивал все его удары и платил за них с процентами. Мы схватились сорок три раза, и, наконец, он признал мою победу над собой, с глазами заткнутыми синими пробками, и лицом так вспухшим и покрытым кровью, что его не могли бы узнать даже друзья, если только он имел их. Я же остался цел и невредим.

Большая часть мичманов разослана была по призам, но двое главных из нашей кают-компании, и именно: старый проэкзаменованный штурманский помощник и подлекарь, державший меня за пульс при операции с шерстяным чулком, присутствовали во время боя в виде секундантов со стороны Мурфи. Я всегда держался правила, чтобы, по выигрыше сражения, продолжать добивать неприятеля донельзя. Звуки победы раздались в нашей кают-компании; младшие соединились со мной в песнях триумфа, и наносили всякие оскорбления триумвирату. Молодой Эскулап, бледнолицый, рябоватый, болезненно смотрящий человек, был так глуп, что сказал мне, чтоб я все-таки не считал себя начальником кают-компании, хотя и побил Мурфи. Я лаконически отвечал на это сухарем, направленным прямо ему в голову, как знаком вызова на поединок; и мгновенно кинувшись на него, прежде чем он успел вытащить ноги из-под стола, запустил пальцы свои ему за галстук и завернул так крепко, что едва не задушил его, прибавив в то же время к этой нежности два или три порядочные толчка головою об борт.

Увидя, что лицо его побагровело, я отпустил его, но спросил, не хочет ли он какого-нибудь дальнейшего удовлетворения, на что он отвечал отрицательно, и с того дня был всегда услужлив и покорен мне. Старый штурманский помощник, грубый, упрямый матрос купеческого судна, казалось, весьма испугался такой внезапной победы над его союзниками, и я думаю, был бы очень рад заключить со мною мир, хотя для одного себя. Он никак не решался подать помощь подлекарю, хотя тот просил ее, делая самые жалостные телодвижения.

Я отметил этот факт с тайным удовольствием. Но мне ужасно хотелось дать ему повод к ссоре, видя, что он всячески от нее уклоняется. Я порешил быть главою стола. В полночь того же дня, сменившись с вахты и спустившись вниз, я нашел старого штурманского помощника скотски пьяным. В этом состоянии он и завалился спать. Пока лежал он «усопшим», я взял кусок ляписа и провел полосы и фигуры по всему его изнуренному лицу, умножив тем природное его безобразие до ужасной степени и сделав его весьма похожим на новозеландского воина. На следующее утро, когда принялся он за туалет, партия моя была уже приготовлена к развязке. Он открыл свой маленький грязный сундучок, поточил на ремне старую бритву и, намыливши мыла в деревянной мыльнице, носившей на себе явные признаки древности, поставил потом треугольный обломок зеркала на отворенную крышку шкатулки, и начал операцию бритья. Я никогда не забуду этой сцены. В каком ужасе вскочил он, взглянув на свое лицо! Он превзошел молодого Росциуса, когда тот увидел дух Гамлета. Смачивая языком огромные сучковатые свои пальцы, старый штурманский помощник старался стереть пятна ляписа, но проклятые пятна никак не сходили, а мы, как молодые чертенята, окружив его, помирали со смеха.

Я смело сказал ему, что он носит на себе знаки моих милостей, точно так, как Мурфи и доктор, и присовокупил с жестокой насмешкой, без которой можно было тогда и обойтись, что мне вздумалось сегодня всех своих слуг сделать черными. Я спросил его: доволен ли он этим распоряжением или намерен возражать против моего поведения; но он сделал знак, что возражать не намерен. Таким образом в двадцать четыре часа я победил великий союз, так долго угнетавший меня. Я отрешил доктора от должности хозяина нашей кают-компании и взял эту обязанность на себя. Не было больше сражений, ибо не было надежды на победу со стороны противников, а с моей, ничего такого, что бы подавало к ним повод. Одним словом, я восстановил некоторым образом золотой век на кубрике. Я никогда не пользовался преимуществом своей силы и употреблял ее только на защиту обижаемых, чем и доказал, что вовсе не был сварлив.

Мы оставили Мальту в надежде встретить нашего главнокомандующего у Тулона; но редко случается, чтобы в военное время капитан фрегата хоть сколько-нибудь торопился соединиться с адмиралом, разве имеет к нему важные депеши⁹, а так как мы их тогда не имели, то под тем или другим предлогом, пробежали все Средиземное море и потом начали лавировать опять назад, вдоль испанского и французского берегов. Говорят: дурной тот ветер, который ни в какую сторону непопутен, и мы имели его на этот раз, потому что если бы соединились с флотом у Тулона, то никакой захваченный нами призыв не был бы для нас важен, поступая в общий раздел. Капитан наш, будучи одним из самых искуснейших вояк, каких я когда-либо встречал или о каких когда-либо слышал, имел две причины, заставлявшие его отправлять призывы в Гибралтар. Первая состояла в том, что нас, по всем вероятностям, скоро должны будут послать туда за получением людей, и мы будем иметь выгоду крейсировать назад; а вторая, — что ему очень хорошо были известны дурные привычки портовой комиссии в Мальте.

Поэтому все суда, захваченные нами прежде, были по сланы для описи в Гибралтар, и мы увеличили число их еще несколькими. Нам посчастливилось взять большой корабль, нагруженный морским укропом¹⁰, и бриг с табаком и вином. Меня удостоили назначением на последний, и право ни одному из наших первых министров никогда не приходилось ладить с подобными беспорядочными помощниками и быть в таком трудном положении. Фрегатская команда значительно уменьшилась от назначений на первые призовые суда, уже после несчастного дела с Мальтийским привати́ром, и потому мне дали только трех человек; но я был до того восхищен

⁹ В военное время в английском флоте лучшие капитаны стараются быть назначенными на фрегаты, как на суда, чаще бывающие в отдельных плаваниях и следовательно наиболее имеющие случай захватить призы. Кроме того, фрегаты считаются у них глазами флота и потому требуют таких командиров, которые в полной мере понимали бы свое назначение и умели ценить командование такими судами.

¹⁰ Растение, из которого в то время добывали соду.

первым моим командованием, что мне кажется, если б мне дали тогда собаку и поросенка, я был бы и тем совершенно доволен. Нас свезли на судно на фрегатской шлюпке. Дул свежий восточный ветер, и я, переложивши немедленно руль, взял курс на Гибралтар. Вскоре ветер засвежел до риф-марсельного; мы летели под всеми парусами; наконец, пришлось закрепить брамсели, что и было исполнено одно за другим. Вслед затем, как ни казалось нам кстати взять один или два рифа у марселей, мы не в состоянии были этого сделать, и попробовали взять испанский риф, то есть, положить реи на эзельгофт; при всем том судно не переставало лететь с попутным ветром, увеличившимся тогда не на шутку. Груз наш, состоявший из вина и табаку, был по несчастью погружен в трюм испанским, а не английским хозяином. Разница эта была для меня весьма чувствительна. Англичанин, зная слабость своих соотечественников, поместил бы вино под низ, а табак наверх; но, на беду мою, случилось обратное, и люди мои до того лакомили себя, что очень скоро сделались мне совершенно бесполезны, нагрузившись более нежели «море по колено».

Однако за всем тем мы продолжали идти очень хорошо до двух часов по полуночи. В это время матрос, стоявший на руле, не в состоянии будучи разбудить ни одного из счастливых своих товарищей, чтобы принести ему каплю промочить горло, полагал, что он может на минуту оставить бриг управляться сам собою, покуда он утолит свою жажду из винной бочки. Судно немедленно рыскнуло, то есть пришло бортом к ветру и волнению, и грот-мачта отправилась за борт. По счастью, фокс-мачта осталась на месте. Матрос, оставивший руль, не имел даже времени напиться пьян, а другие два так испугались, что протрезвились.

Мы очистили судно от обломков крушения, как могли; опять привели его к ветру и пошли прежним курсом; но британский матрос, будучи самым отважным из всех людей, вместе с тем самый беспечный и невнимательный. Потеря грот-мачты, вместо того, чтоб показать моим людям их безрассудность в излишнем употреблении вина, произвела в них совсем обратное действие. Если они могли быть пьяны, когда стояли две мачты, то тем более могли быть, когда осталась одна, и когда они имели вдвое меньше работы при управлении парусами. С таким тройным правилом нечего было рассуждать; они опять напились пьяны.

Ангел-хранитель часто остается с нами, когда мы того не заслуживаем.

«The sweet, little cherub that sits up aloft»¹¹, – как говорил Дибдин, – одним глазом смотрел на нас. На третий день плавания, рано поутру, мы увидели Гибралтарскую скалу, и через два часа обогнули Европейский мыс. Я между тем приказал людям привязать канат, и подобно многим молодым офицерам, считал это исполненным, потому что мне так донесли, и потому что я приказал. Ни разу не пришло мне в голову пойти посмотреть, исполнено ли мое приказание; впрочем, надобно сказать правду, я работал столько, сколько доставало у меня сил. Я был на руле с полуночи до шести часов утра, высматривая берег; после того велел матросу сменить меня, и показавши ему как править, сам погрузился в глубокий сон, продолжавшийся до десяти часов; потом должен был опять употреблять все мое искусство и сметливость, чтобы попасть в бухту и не допустить пронести себя в пролив, так что привязывание каната совсем вышло у меня из памяти, до минуты, когда понадобился мне якорь.

Когда я проходил под кормой одного из военных кораблей, стоявших на рейде, с развивающимся призовым флагом, бывший наверху офицер окликнул меня и советовал уменьшить парусов. Я сам тоже думал, но как мне было это исполнить? Вся моя команда была слишком пьяна для такой работы; и хотя я просил помощи от корабля его величества, но было так ветрено, и мы прошли так скоро, что они не могли слышать меня или может быть не хотели исполнить мою просьбу. Нужда изменяет закон: я увидел между прочими судами, бывшими в бухте, огромный и неуклюжий транспорт, и рассчитал, что он лучше всякого другого судна в состоянии выдержать потрясение, которое я для него готовил. Я слышал когда-то, а с того времени и

¹¹ Милый херувимчик, что сидит наверху.

сам убедился, что начальники – хозяева этих судов (подобно всем другим начальникам-хозяевам) обманывают правительство не на одну тысячу фунтов в год. Он лежал на якоре в той части залива, которая назначена была для призовых судов; и так как я не видел другого средства поставить свое судно на якорь, то и начал править «для рачьего поцелуя», и со всего размаха ударился в его борт, к большому удивлению штурмана, штурманского помощника и команды.

Обычная ругань и залп проклятий на наши победные головы последовали за ударом. Я ожидал такого приветствия и вполне был приготовлен к нему, как и к падению фок-мачты, которая, ударившись об фока-рей транспорта, свалилась на правую сторону и весьма много облегчила работу нашу по уборке парусов. Таким образом бриг мой сначала был обращен в одномачтовое судно, а потом в блокшиф; счастье еще, что подводная его часть была довольно крепка. Меня скоро развели с транспортом и крикнули мне мужественным голосом: «Бросай якорь! «Приказание это было исполнено со всей возможной скоростью, и якорь полетел в воду довольно хорошо; но так как к нему не привязали канат, а люди мои были пьяны замертво, то я пустил судно свое дрейфовать чрез канат фрегата, командир которого, видя, что я не имею другого готового якоря, немедленно прислал ко мне несколько человек на помощь, и в пять часов я безопасно уже стоял на якоре в Гибралтарской бухте, расхаживая по своим шканцам с таким же самодовольствием, с каким ходил Колумб, когда он пристал к островам Америки.

Но недолго, очень недолго продолжалось мое командование! Фрегат мой пришел на следующее утро. Капитан послал за мной, и я дал ему отчет в моем плавании и несчастьях; он весьма дружески утешал меня, и не только не сердился за потерю мачт, но говорил, что удивляется, как при всех этих обстоятельствах я мог спасти судно. Чрез две недели пребывания нашего в Гибралтаре, получено было известие, что французы вступили в Испанию, и весьма скоро после того был получен приказ из Англии прекратить все неприятельские действия против испанцев. Это мы считали для себя печальным известием, отнимавшим у нас случай умножить призовые деньги; оно в то же самое время увеличивало наши труды; но зато удивительным образом разнообразило нашу деятельность и открыло для нас сцены, гораздо интереснее тех, каких мы могли бы ожидать, если б война с Испанией продолжалась.

Нам велено было соединиться с адмиралом у Тулона, но на пути зайти в испанский порт Картагену и донести о состоянии испанской эскадры. Губернатор и офицеры испанского флота, там стоявшего, приняли нас весьма вежливо, и мы нашли, что этот народ был вообще люди с талантами и воспитанием; корабли их были по большей части разоружены, и они не имели средств вооружить их.

Глава VI

*Ты нанес мне жесточайшую обиду.
Да, я сделал это от всего сердца, и ты заслуживаешь ее.
«Все то хорошо, что оканчивается хорошо».*

Шекспир.

Нетерпение взглянуть на страну, бывшую в продолжение такого долгого времени для нас недоступной, весьма естественное в этом случае, заставило всех нас просить позволения съехать на берег, и мы были отпущены. Даже матросам позволено было пользоваться этим и съезжать партиями в двадцать и тридцать человек разом. Народ зевал на нас и провожал повсюду; но в то же время и чуждался нас, как «еретиков».

Трактиры в этом городе, как и все трактиры в Испании, нисколько не улучшились со времени бессмертного Сантильяны – все они были полны толпами самого низкого народа и шайками bravos, «храбрых», ремесло которых заключалось в воровстве, и которые мало заботились, если оно сопровождалось убийством. Приготовление кушаньев было омерзительно. Чеснок и прованское масло составляли главнейшие их части. Винегрет «olla podrida», и постоянное его присутствие в столовой, и соус из томатов, были нестерпимы; но вино довольно хорошее для мичмана.

Не проходило ни разу, когда заходили мы отдыхать в какую-нибудь из этих харчевен, чтобы браво́сы не старались поднять с нами ссору, и так как люди эти всегда вооружены были ножами и пистолетами, то мы сочли за лучшее быть самим также готовыми; и всякий раз, когда садились за стол, не забывали выставлять ручки наших Пистолетов, что и удерживало молодцов в благопристойном порядке; они столь же трусоваты, сколько преданы воровству.

Матросы наши, будучи не так осторожны и не так хорошо вооружены, были часто кругом обкрадываемы и убиваемы этими мерзавцами.

Однажды я едва не сделался их жертвой. Прогуливаясь вечером со вторым штурманом, я вел под руку прекрасную молоденькую испанскую девушку, причем, к стыду моему, должен сказать, что я и здесь сделал знакомство с одним из тех слабых созданий, которые называют себя сестрицами. Мы встречены были четырьмя негодьями. Увидя тотчас по манере, в какой держали они свои плащи, что пистолеты у них наготове, я просил моего Товарища вынуть свой кортик, держаться ближе ко мне и не позволял им пройти между нами и стеной. Видя нас хорошо подготовившимися для встречи их, они пожелали нам «buena noche» (доброй ночи), и дабы заставить нас забыть предосторожность, вступили с нами в разговор, прося дать им сигарку, что товарищ мой готов был уже исполнить, если б я не предостерег его – не выпускать кортика из правой руки, чего они только и хотели.

В этом оборонительном положении мы продолжали дорогу, пока подошли к plaza или большой четырехугольной площади, где, по всегдашнему обыкновению этой страны, прогуливалось множество народа, наслаждаясь лунным светом.

– Теперь, – сказал я моему товарищу, – пустимся бежать от этих молодцов. Когда я побегу, ты отправляйся за мной и не останавливайся, покуда мы не будем среди площади.

Маневр был успешен; мы опередили воров, которые не предугадали нашего намерения и запутывались в своих тяжелых плащах. Видя, что мы ушли, они обратились к девушке и отняли у нее все, данное ей нами.

Мы видели все это, но не могли помочь; такова была тогда испанская полиция, и с тех пор она нисколько не улучшилась.

После этого случая я не пускался более странствовать на берегу ночью, исключая одного раза, когда шел в компании с офицерами в дом испанского адмирала, имевшего прекрасную

племянницу и бывшего настолько либеральным, смелым, что не смотрел косо на нас, бедных еретиков. Племянница его была в самом деле прекрасное создание: ее черные, исполненные любви глаза, длинные ресницы и черные, как вороново крыло, волосы, показывали, что в жилах ее есть еще капли маврской крови, а древняя ее фамилия и отличное воспитание невольно привлекали к ней всякого.

Прекрасная девушка то и дело украдкой останавливала свой взгляд на моей юношеской наружности и шегольском платье. Самолюбие мое было подстрекнуто. Я говорил с ней по-французски; она не вполне понимала этот язык и старалась показать, что еще меньше его знает, из-за ненависти, которую в это время все испанцы питали к французам.

Мы не упускали пользоваться временем, бывшим, впрочем, весьма непродолжительным, и прежде, нежели расстались, совершенно понимали друг друга. Я думал, что могу быть счастливым, живя с нею в пустынях Испании и распростившись со всем светом.

Время расставания наступило, и я был оторван от моей Росаритты, однако ж, не без того, чтоб не подать подозрения капитану и сослуживцам моим, будто бы любовь наша далеко завела нас, и я был осчастливленный юноша. Это было несправедливо. Я любил моего несравненного ангела, но никогда не посягал на ее добродетель, и отправился в море в таком расположении духа, что мне по временам приходило на мысль, не кончится ли оно отчаянием; но соленая вода удивительное лекарство против любви, по крайней мере против такой, какая тяготила меня тогда.

Мы соединились с адмиралом у Тулона и получили от него приказание крейсировать между Перпиньяном и Марселем. Мы отделились от флота на следующий день и держали берег в непрерывной тревоге. Ни одно судно не смело показать нос из порта, и если показывало, было наше. Мы насмехались над батареями и своими длинными восемнадцатифунтовыми пушками заставляли их молчать или выходили на берег и срывали их.

В одной из этих небольших сшибок я едва не был взят в плен и в таком случае должен был потерять честь и славу последующих подвигов, но избежал от беды, бывшей от меня на волосок. Я бы должен был быть или изрубленным, в отплату за наши проказы, или отправиться в Верден, и провести там все остальные шесть лет войны.

Мы вышли на берег, чтоб взять приступом и взорвать батарею; для этого мы взяли с собой бочонок с порохом и стопин из парусины. Все шло благополучно. Мы подошли ко рву, который необходимо было перейти; были выбраны лучшие пловцы, дабы переправить на ту сторону порох, не замочив его. Я состоял в числе их, и для сохранения своей обуви, снял башмаки и чулки; по взятии же батареи, был так увлечен присмотром за телеграфным ящиком, что почти забыл о взрыве, покуда не услышал крик: «Бегите, бегите!» – с той стороны, с которой стопин должен был зажечься.

Я был в это время на стене укрепления вышиною футов тридцать, но отлогой. Соскочив с одного уступа и вскарабкавшись на другой, я пустился бежать со всех ног, посреди дождя камней, падавших возле меня, как бы при извержении Везувия. По счастью, меня не ушибло; но я разрезал себе ногу при прыжке, и это причинило мне жестокую боль. Мне надо было перейти два поля, покрытые стеблями, оставшимися от сжатого хлеба, а башмаки и чулки мои находились на другой стороне рва; острая солома, попадая в рану, доводила меня почти до безумия и несколько раз заставляла в изнеможении падать.

Однако я превозмог все это, и почти добрался до шлюпок. Но они в то время уже отвалили, не беспокоясь о моем отсутствии. Вдруг шум, подобный недалежному грому, достиг ушей моих, и вскоре я увидел, что это была кавалерия из Котты, прискакавшая для защиты батарей. Собравши все свои силы, я кинулся в море, чтобы доплыть до шлюпок. Времени терять мне было некогда; несколько неприятельских егерей на черных лошадях успели пуститься вплавь за мною и палили мне в голову из пистолетов.

Шлюпки были тогда почти в четверти мили от берега; находившиеся в них офицеры по счастью увидели кавалерию, и в это же самое время увидели меня, плывущего к ним; одна из шлюпок подержалась на веслах. Я достиг ее с большим трудом, был взят на нее, но так обессилел от потери крови и усталости, что привезен на фрегат почти мертвый. Нога моя была разрезана до кости, и я целый месяц оставался на попечении доктора.

Вскоре по моем выздоровлении, мы взяли в плен судно, на которое Мурфи назначен был для отвода, и в тот же вечер вырезали шхуну, стоявшую на якоре. Начальство над нею поручено было мне. Это случилось поздно вечером, и в поспешности отправки, забыли положить нам бочонок с вином, приготовленный для меня и для моей команды. Вот переход от одной крайности к другой: на первом судне моем было слишком много вина, а на этом ни капли. Соленая рыба, из которой состоял груз наш и пища, сильно увеличивала жажду, и мы горько оплакивали разлуку с нашим бочонком. На третий день по оставлении фрегата, идучи прямо в Гибралтар, я увидел под испанским берегом судно, и по огромной белой заплате в грот-марселе, узнал, что это было то самое, которым командовал Мурфи. Я поставил все паруса, в надежде догнать его и взять от него сколько-нибудь вина, зная, что там было больше, нежели сколько надобно, даже если б он и его люди захотели быть пьяны каждый день. Когда я приблизился к нему, он поставил все возможные паруса. В сумерках я был от него довольно близко и почти на расстоянии оклика, но он продолжал бежать без оглядки; а я, имея на своем судне пару небольших трехфунтовых пушек и несколько пороху, палил из них для сигнала, делая выстрел за выстрелом: но он все не приводил, и когда совсем стемнело, я потерял его из вида и не видел более до встречи в Гибралтаре.

На следующее утро мне попались три испанские рыбацьи лодки. Они приняли меня за французского приватира, убрали свои сети и поставили паруса. Я подошел к ним; выстрел мой из пушки заставил их привести к ветру и сдаться. Я приказал им пристать к борту и, найдя, что у каждого из них было по фляжке с вином, объявил эту часть их груза контрабандой, хотя, впрочем, предлагал им плату за взятое мною. Они не хотели принять ее, узнавши, что я «Ingles», англичанин, и считали себя совершенно счастливыми, что не попали в руки французов. Я дал каждому из них по фунту табаку, чем они не только остались довольны, но еще более убедились в мнении, недавно полученном их соотечественниками, что Англия была самая храбрая и самая великодушная из всех наций. Они предлагали мне все, находившееся у них в лодках; но я отказался, получивши то, в чем нуждался, и мы расстались довольные друг другом: они, крича «Viva Inghlaterra!», а мы желая им счастливого пути и запивая это желание их же собственным вином.

Долго не могли мы попасть в Гибралтар, удерживаемые безветрием, при чрезвычайно хорошей погоде; но узнав, что рыбацьи лодки имели вино, старались всегда пополнять погреб наш и собирать эту подать, достававшуюся нам так легко; впрочем, я не имел причины полагать, чтобы справедливая и дружеская меня наша могла хоть сколько-нибудь повредить любви, которую его величество король Георг столь справедливо заслужил у этого народа. По приходе в Гибралтар, я имел еще пару бочонков доброго вина для угощения своих однокашников, хотя был огорчен, найдя там фрегат, пришедший с остальными призами; Мурфи пришел сутками после меня.

Я был на шканцах, когда он приехал на фрегат, и, к удивлению моему, доносил, что был преследуем французским приватиrom, которого отогнал после четырехчасового сражения; что он имел много повреждений в вооружении, но ни одного человека даже ушибленного. Я дал свободу языку его до вечера. Многие верили ему, но некоторые сомневались. За ужином, в офицерской кают-компании, хвастовство его не имело границ, и когда он напился до полупьяна, мои три человека были произведены им в полную команду брига, на котором находилось столько людей и пушек, сколько на бриге и поместиться не может!

Наконец, ложь его мне надоела; я рассказал происшествие, как оно было, послал за бывшим со мной унтер-офицером, и он подтвердил мои слова. С тех пор Мурфи был презираем всеми на судне. Всякая ложь стала Мурфи, и всякий Мурфи – лжецом. Он не смел отмщать за наши упреки; и ему так неприятно было оставаться на фрегате, что когда капитан предложил ему переменить судно, он нисколько тому не противился; характер его последовал за ним, и он никогда не получал производства. Мне всегда приятно вспоминать, что я не только вполне отмстил этому человеку, но еще был причиной исключения его из благородного сословия офицеров, которое он пятнал собою.

Тогда было не время для фрегатов оставаться праздными; и если бы я сказал только имя моего фрегата и капитана, то в морской истории страны, где происходили их подвиги, можно найти подтверждение слов моих, что этот фрегат более прочих наших судов участвовал в освобождении Испании. Южная часть ее сделалась театром самой жестокой и опустошительной войны. Станция наша была у Барселоны, а потом у Перпиньяна, французской границы с пределами Испании. Должность наша состояла в вспоможении начальникам гверильясов при нападении на неприятельские конвои с провиантом как в море, так и по дороге, лежавшей по морскому берегу, и в вытеснении неприятеля со всякого крепкого приморского пункта, которым он завладел; и признаюсь, способности и предприимчивость нашего капитана были для этой службы чрезвычайно подходящими.

Я участвовал в этих десантах и бывал в отлучке с фрегата иногда по три и четыре недели, принадлежа к партии, вооруженной ружьями, под командой третьего лейтенанта. Мы терпели очень много от всякого рода недостатков; никогда не брали с собою провизии более, как на одну неделю, а очень часто оставались три недели, не получая никакого продовольствия. Что касается до одежды, то мы не имели ни башмаков, ни чулок, ни белья, и никто из нас не имел фуражек, носовой платок обыкновенно заменял эту принадлежность; мы лазили по утесам и странствовали по кремнистым или топким равнинам вместе с нашими новыми союзниками, смелыми горцами.

Люди эти уважали нашу храбрость, но им не нравились религия наша и обычаи. Они охотно разделяли с нами свои съестные запасы, они были всегда неумолимы в жестокости против французских пленных; и никакое наше убеждение не могло заставить их сохранить жизнь хоть одному из этих несчастных, которых крики и мольбы к англичанам о заступничестве или спасении оставались всегда напрасны. Их или закалывали в наших глазах, или притащив на возвышенность, которая была бы видна из какой-нибудь крепости, занимаемой французами, перерезывали горло от одного уха до другого, в виду их соотечественников.

Христианин без сомнения станет порицать такое ужасное варварство; но он должен однако ж припомнить, что у народа этого были ожесточены все чувства. Насилия, пожары, убийства и голод везде сопровождали жестоких победителей; и хотя мы могли сожалеть о их участи и стараться отвращать ее, однако, не могли не признать, что им отплачивали по заслугам.

В этой войне мы иногда пользовались изобилием, иногда же почти умирали с голоду. В один день, когда голод в особенности не давал нам покоя, мы встретили жирного, румяного капуцина и просили его показать нам, где можно купить пищи или достать ее каким-нибудь другим способом; на это он отвечал, что и не знает, где достать ее и не имеет денег: его орден, говорил он, запрещал ему иметь их. Мы отпустили его; но некоторая поспешность, с которой он удалялся, заставила нас подозревать, что в его словах должен быть какой-нибудь обман; и так как нужда не имеет закона, поэтому мы взяли на себя смелость осмотреть святого отца, и, нашедши у него сорок долларов, избавили его от них, уверяя, что совесть наша в этом случае совершенно чиста, ибо орден его запрещает ему иметь деньги, и притом он живет между такими добрыми христианами, которые, наверно не оставят его в нужде. Он проклинал нас; но мы смеялись над ним, потому что его несчастье произошло от собственного лицемерия и лжи.

Испанские монахи обыкновенно так поступали с нами; а мы обыкновенно таким образом оплачивали им, когда могли. Отнятые талеры мы употребили на покупку пищи; вскоре потом соединились с нашей партией, и полагали дело это конченным; но монах следовал за нами в некотором расстоянии, и мы видели его, как он всходил на холм, где расположен был наш бивуак. Чтобы нас не могли узнать, мы переоделись. Монах принес жалобу начальнику гверильясов, глаза которого засверкали негодованием, когда он услышал о недостойном поступке с его падре, и весьма вероятно, что не обошлось бы без кровопролития, если б святой отец мог указать дерзновенных.

Хотя я переменил одежду, но наружность моя оставалась та же; и так как он смотрел на меня больше, нежели с сомнением, то я выпучил глаза прямо ему в лицо и, соединив все силы неподражаемой моей смелости, громким и угрожающим голосом спросил его по-французски: не считает ли он меня за разбойника?

Вопрос этот и мастерская манера, с какой он был сделан, если не удовлетворили, по крайней мере, умилили преподобного отца. С явным нетерпением слушал . . . он намеки, делаемые некоторыми из наших матрасов, что он ограблен был другою партией и отправился преследовать ее. Таким образом я освободился от монаха, и очень рад был видеть, как он уходил. Уходя, он еще раз бросил на меня весьма испытующий взгляд; но я отвечал ему таким же, исполненным притворного гнева и презрения, которые вполне умел выказать. Кудрявые мои волосы плотно сглажены были куском мыла, бывшим у меня в кармане, и я гораздо более походил тогда на методистского попа, нежели на обирателя чужих карманов.

За несколько времени перед этим, фрегату нашему даны были другие поручения, и так как я не имел случая попасть на него, то временно назначен был на другой.

Глава VII

Начался шум битвы, и между двумя воинствами оставался узкий промежуток.
Мильтон

Капитан фрегата, на который меня назначили, благодаря своим достоинствам был избран лордом Коллингвудом для исполнения гораздо более важных поручений, и нас послали подавать помощь испанцам при защите ими важной крепости Росаса в Каталонии. Французский генерал Сен-Сир вступил в эту область и, взявши Фигуерас и Херону, завистливым глазом смотрел на замок Св. Троицы, стоявший на юго-восточной стороне, взятие которого было бы верным ручательством в падении Росаса.

Наш капитан решился защищать его, хотя он только что был оставлен другим британским флотским офицером, как неспособный к защите. Я был сверхкомплектный мичман, но просился, чтоб меня назначили в десант, и был послан. Должно сказать, что офицер, оставивший это место, выказал величайшее благоразумие. Все стены замка были в развалинах. Кучи искрошенных камней и щебня, изломанные пушечные станки и треснувшие пушки представляли весьма невыгодное место сражения. Мы имели пред осаждающими одно только преимущество, заключавшееся в том, что пролом, сделанный ими в стенах, был крут для восхода, и взорванные камни рассыпались под ногами; между тем, как мы встречали подходящих всем, что только можно было кидать. Это составляло нашу единственную защиту и все средства, чтобы воспрепятствовать неприятелю ворваться к нам.

Мы имели еще у себя другое весьма важное неудобство. Замок стоял близ крутого холма, остававшегося во власти неприятеля, и на этой возвышенности, бывшей почти наравне с вершиной замка, триста швейцарских зорких стрелков, устроив ложемент в расстоянии пятнадцати сажень от нас, производили беспрестанную пальбу по замку. Как только голова показывалась на стене, наверное двадцать винтовочных пуль в одно мгновение жужжало над ней; и точно такое же беспрерывное внимание обращено было на наши шлюпки, приставшие к берегу.

На другой возвышенности, более к северу и следовательно несколько далее вовнутрь земли, французы устроили батарею из шести 24-фунтовых орудий. Это приятное соседство было от нас только на сто сажень и беспокоило беспрерывным огнем с рассвета до ночи, давая весьма мало времени пушкам своим простывать.

Я никогда не полагал, будучи мальчиком, чтоб пришлось мне когда-нибудь завидовать вторичному петуху¹²; но со мной случилось это в проклятом замке. Тут, конечно, было не до шуток; мы не в состоянии были расстроить такую превосходную против нас силу; но капитан мой был настоящий рыцарь, и так как я вызвался охотником, то не имел права жаловаться.

Так велика была точность неприятельских выстрелов, что мы, увидя камень, в который попало ядро, могли указать, какой вслед за тем будет вышиблен, и люди наши часто получали раны осколками гранита, из которого построены были стены, или подстреливались как куропатки швейцарским отрядом, расположенным на возвышении около нас.

Силы наши в замке состояли из 130 человек английских матросов и солдат, роты испанцев и роты швейцарцев на испанском жалованьи. Никогда хуже не платили и не прокармливали войско, и никогда лучше не выставляли его на поражение. Все мы были вместе, как стадо сви-

¹² В некоторых местах Англии есть обычай, что ребяташки во вторник первой недели великого поста ставят петуха на площадку, привязав его за одну ногу так, чтобы он мог подпрыгивать, и бросают в него палками, стараясь попасть только в голову.

ней; постели наши состояли из грязной соломы и блох; пища была в равной степени роскошна; начиная от капитана до последнего рядового, не было различия. Сражаться иногда весьма приятное препровождение времени; но излишество пресыщает чувства, а мы имели его довольно, не имея между тем того, что я всегда считал необходимым условием войны, то есть вполне сытого желудка. Я даже не понимал прежде, как человек мог без этого исполнять свою должность; но принужден был тогда вместе с многими другими делать опыты, и когда шлюпки не могли пристать к берегу, что случалось часто, мы свистали к обеду только *pro forma*, ибо капитан наш любил порядок, и пили холодную воду для наполнения своих желудков.

Я часто слышал от старика, моего дяди, что ни один человек не знает, что он может сделать, покуда не испытает себя; а неприятель дал нам множество случаев выказать наше остроумие, трудолюбие, бдительность и воздержание. Когда бедная Пенелопа ткала свое тканье, поэт говорил: «Ночь разрушала дневную работу».

С нами случалось в полном смысле обратное: день разрушал все труды ночи. Часы темноты употребляемы были нами на пополнение мешков с песком и складывание их в проломы, на удаление щебня и на приготовление к встрече неприятельского огня, зная навверное, что он начнется с рассветом. Эти занятия, при самом деятельном наблюдении против нечаянного нападения, отнимали столько времени, что нам очень мало оставалось для отдохновения; а на обеды наши употреблялось еще того менее.

В одном из наших способов защиты было нечто оригинальное, такое, что хотя и не составляло высшего искусства, но могло бы заставить инженера улыбнуться. Капитан вздумал сделать оборону из гладких сосновых досок, взятых нами с фрегата; он поставил их в косвенном положении в проломе, и приказал хорошенько смазать салом и кухонными помоями, так что если бы неприятели захотели ворваться в нашу засаду, они должны были вскочить на них и немедленно съехать в весьма глубокий ров, где или ожидать докторской помощи, или, если будут в состоянии, начать приступ свой сызнова. Это была очень хорошая лестница для клопов; но в то время мы считали столько же важным убить француза, сколько раздавить того проклятого маленького ночного разбойника, о котором я сейчас упомянул.

Кроме скользкой хитрости, удавшейся нам с большим успехом, мы услужили им еще другою. На фрегате нашем нашлось большое количество рыболовных крючков, и мы рассадили их на сальных досках повсюду, где только осаждающие могли бы цепляться руками или ногами. Под самым проломом была сделана мина, наполненная бомбами и ручными гранатами; замаскированные пушки, набитые картечью по самое дуло, окружали это место со всех сторон. Такова была наша защита, и еще удивительно, как в продолжение трехнедельного пребывания в замке, при сопротивлении такому сильному неприятелю, мы потеряли только двадцать человек. Но кризис приближался.

Однажды рано поутру мне случилось быть дозорным. Я посмотрел через стену замка на пролом в то время, когда полоса тумана, обыкновенно висящего там в продолжение ночи между холмами и потом лежащего на долины, только что начала подыматься, и звезды становились бледнее над нашими головами. Капитан, подошедши ко мне, спросил, на что я смотрю? Я отвечал ему, что ничего не могу рассмотреть явственно, но мне кажется что-то необыкновенное в долине прямо против пролома. Он прислушался с минуту, посмотрел внимательно в ночную трубу и закричал твердым голосом, но не громко:

– К оружию! Неприятель!

В три минуты все были по своим местам, но и при такой исправности нам надобно было торопиться, потому что в это время мы ясно увидели черную неприятельскую колонну, извивающуюся по долине подобно огромной сколопендре, и с отважной предприимчивостью, столь обыкновенной в войсках Наполеона, в молчании начинавшую входить в пролом. Это была ужасная и важная минута; но хладнокровие и решительность небольшого гарнизона соответствовали такому случаю.

Отдано было приказание хорошо прицеливаться, и залп из замаскированных пушек и ружей полетел в густоту колонны. Она остановилась. Поднялись глубокие стоны; неприятель отступил несколько шагов в замешательстве, потом сомкнулся и опять пошел на приступ; огонь с обеих сторон не умолкал. Большие орудия из укрепления на холме и швейцарские стрелки, еще более приблизившиеся, делали по нас многочисленные залпы, и громкими криками ободряли товарищей своих на приступ. Когда неприятель приблизился и вступил на нашу мину, мы зажгли стопин: жертвы взлетели на воздух и потом падали вниз, в развалины укрепления. Вопли, крики, смятение, французские проклятия, британское ура возносились до облаков. Холмы повторяли клики. Мы в изобилии посылали неприятелю ручные гранаты и уродовали тела их самым достохвальным образом.

Я должен сказать, что французы действовали хорошо; гренадеры и пионеры их лоском ложились, скашиваемые тем самым оружием, изображение которого блистало спереди их киверов.

Я кричал с исступлением; все мы дрались, как бульдоги, ибо знали, что нам нельзя уступить ни пяди.

Не прошло десяти минут, как началось сражение, но уже многие из храбрых валялись на земле. Голова неприятельской колонны была истреблена взрывом нашей мины. Они опять перестроились, и были уже на половине расстояния к нашей брешу, как начало смеркаться. Тогда мы увидели избранный корпус из тысячи человек, предводительствуемый полковником и подходящий к нам по телам собратий только что павших.

Храбрый предводитель, казалось, был столько же хладнокровен и спокоен, как за завтраком; обнаженной саблей указывал он на брешь, и мы слышали, как он воскликнул: «*Suivez moi!*»

Я завидовал этому храброму человеку; завидовал тому, что он был француз и кинул ему между ног ручную гранату; он схватил ее и отбросил от себя на значительное расстояние.

– Довольно хладнокровный детина, – сказал капитан, стоявший тогда около меня. – Погоди, я pošлю ему другую; – и он пустил гранату.

Но полковник отбросил ее прочь с одинаковым хладнокровием и достоинством.

– Как видно, его может только излечить унция свинца, пропущенная натошак, – возразил капитан. – Правда, жаль убивать такого молодца, но что же делать.

Сказавши это, он взял ружье из рук моих, только что заряженное мною, прицелился, выпалил; полковник зашатался, схватился рукою за грудь и повалился назад, на руки нескольких человек, бросивших в это время свои ружья и взявших его на плечи, не чувствуя, или совершенно не обращая внимания на опустошение, производимое вокруг них смертью. Мы обратили сильный ружейный огонь на эту небольшую толпу, и каждый из них был ранен или убит. Полковник, опять оставленный без помощи, прошатался еще несколько шагов, покуда достиг небольшого куста, бывшего аршинах в десяти от места, где он получил смертельную рану. Тут он упал; сабля, которую он все еще держал в правой руке, остановилась на ветвях, обратившись острием к небу, и как будто указывала путь душе своего храброго владельца.

С жизнью полковника кончились и надежды французов в тот день. Мы видели, как офицеры исполняли долг свой; ободряли, кричали ура, гнали людей своих, но все было напрасно! Они вонзали сабли в груди бегущих; но солдаты не обращали даже на это внимания; быть убитым таким образом им было не новость, они довольно уже сражались для завтрака. Первое покушение и решительный натиск остановлены были смертью храброго начальника, и, «спасайся, кто может», все равно исходило ли оно от офицеров или барабанщиков, окончило дело, позволив нам перевести дыхание и сосчитать своих убитых.

Лишь только французы увидели с своей батареей, что покушение не удалось, и что начальник этого отряда был убит, они открыли по нас самый жаркий огонь. Я повесил шапку свою

на штык и едва успел приподнять ее над стеною, как дюжина ядер в одну минуту снесла ее; счастье, что голова моя не была под нею!

Когда прекратился огонь с батареей, что обыкновенно делалось в определенные часы, мы имели возможность осмотреть место, на которое произведено было нападение. Штурмовые лестницы и мертвые тела лежали во множестве. Все раненые были унесены; но самую роскошную «пищу для пороха» представляли собою тела, лежавшие перед нами; все они, казалось, были избранные люди; ни одного не было менее шести футов, а некоторые еще выше; они были одеты в серые шинели, чтобы подход их сделать не так заметным в утреннем тумане; а как по ночам было весьма холодно, то я решился достать себе одну из этих серых шинелей, которая бы грела меня во время ночной вахты. Я хотел также достать полковничью саблю, чтобы подарить ее капитану. Поэтому, когда стемнело, спустился с бреша по штурмовой лестнице, припасенной мною в замке, и, сделав так много для короля, вознамерился сделать что-нибудь и для себя. Темнота была ужаснейшая. Я беспрестанно спотыкался; ветер дул, как ураган; пыль и щебень почти ослепляли меня, но я хорошо знал дорогу. Шататься между мертвыми телами в глухую ночь было очень похоже на странствование шакала, и я ужаснулся своего положения. Между порывами ветра выдавались минуты мертвой тишины, которой адская темнота ночи придавала особенный ужас для ума, еще ребяческого. По этой-то причине я не одобряю ночных нападений, кроме тех случаев, когда можно совершенно положиться на своих людей. По большей части они неудачны, потому что человек с обыкновенной храбростью, который среди белого дня станет действовать хорошо, будет пятиться назад во время ночи. Страх и темнота были всегда тесными союзниками. Темнота скрывает страх, и потому страх любит темноту, потому что она избавляет труса от стыда; и если только страх стыда есть единственное побуждение сражаться, то дневной свет в особенности необходим.

Я осторожно полз вперед, ощупывая мертвые тела. Первое, на чем остановилась рука моя, свернуло кровь мою в сыворотку: это была нога гренадера, разорванная ручной гранатой.

– Друг, – сказал я, – сколько я могу заключать по твоей ране, твоя серая шинель ни на что не годится.

Вслед за тем я ощупал тело другого убитого. Ружейная пуля пробила ему голову, и начисто рассчитала его с заимодавцами. Я нашел, что могу воспользоваться оставшимся после него наследством, из которого можно было даже уделить на его похороны; но тело чрезвычайно окостенело и неохотно уступало свою одежду.

Я, однако ж, стащил ее и, одевшись в нее, отправился искать полковничьей сабли; но в этом предупрежден был французом. Окостеневший полковник лежал на прежнем месте; но сабли не было при нем. Я готовился возвратиться, как был встречен не мертвым, но живым неприятелем.

– *Qui vive?*¹³ – спросил тихий голос.

– *Anglais, bete!*¹⁴ – отвечал я тоже тихо и прибавил: – но корсары не сражаются между собою.

– Правда, – сказал он и, проворчавши «*bon soir*», скоро скрылся от меня. Я начал пробираться назад к замку, сказал лозунг часовому, и показывал мою шинель с чрезвычайным удовольствием и радостью. Многие из товарищей моих отправлялись в такую же экспедицию и были награждены большим или меньшим успехом.

В несколько дней тела убитых, лежавшие по берегу, были почти обнажены ночными посетителями; но тело полковника оставалось уваженным и нетронутым. Дневной жар сгноил его, и оно, лишившись всей своей мужественной красоты, представляло один только отвратительный труп. Законы войны, равно как и законы человечества, требовали почетного погребения

¹³ Кто идет?

¹⁴ Англичанин, дурак!

остатков этого героя, и наш капитан, истинный рыцарь феодальных времен, приказал мне поднять белый платок на пике, как флаг перемирия, желая похоронить тела, если неприятель нам позволит.

Исполнение это было поручено мне. Я вышел из замка с лопатами и кирками; но застрельщики на холме начали пускать в нас свои винтовочные пули и ранили одного из посланных со мною. Я посмотрел на капитана, как будто бы спрашивая: идти ли мне далее? Он махнул рукой, чтоб я продолжал, и я принялся тогда копать яму возле мертвых тел; а неприятель, видя намерение наше, перестал палить. Я похоронил уже многих, как капитан пришел ко мне, желая воспользоваться случаем осмотреть позицию неприятеля. Его увидели с укрепления, узнали и совершенно угадали его намерение.

Мы подошли к телу полковника и хотели хоронить его. Капитан, увидя бриллиантовый перстень на руке трупа, сказал одному из матросов:

– Возьми это себе; ему больше не надобно украшений.

Матрос попробовал снять перстень; но окаменелость мускулов после смерти не позволяла стащить его.

– Наверное, он, бедняжка, не почувствует ножа твоего, – сказал капитан: – пальцем больше или меньше для него теперь все равно: бери с пальцем!

Только что матрос начал отделять ножом палец по суставу, как вдруг прилетело к нам 24-фунтовое ядро, так удачно пущенное, что оно сорвало башмак с ноги матроса и плечо у другого человека.

– Управляйтесь с ним живее, зарывайте его, – сказал капитан.

Мы исполнили это; но тут другое ядро, не так хорошо направленное, как первое, засыпало нас лица пылью, и взрыло землю у ног наших.

Капитан приказал тогда людям бежать в замок, чему они немедленно повиновались; а сам остался разгуливать под дождем пуль этих швейцарских собак, которых я от души посылал к черту; ибо, находясь при капитане за адъютанта и чувствуя, что честь, равно как и должность, обязывали меня ходить подле его, каждую минуту ожидал, что какая-нибудь шальная пуля ранит меня туда, где мне стыдно будет показать рану.

Я считал совершенной глупостью такое погребальное шествие, когда погребение уже кончилось, но мой капитан никогда не уходил от французов.

Я ходил позади его, делая эти рассуждения, но выстрелы, начавшие летать весьма часто, невольно заставили меня сначала поравняться с ним, а потом, прибавляя постепенно шаг, поставить его между собой и выстрелами.

– Капитан, – сказал я, – я ведь еще мичман, и мне не столько надобно гнаться за славой, как вам; а потому, если это вам не сделает никакой разницы, то позвольте мне держаться у вас под ветром.

Он засмеялся и сказал:

– Я не знал, что вы здесь, я думал, что вы отправились в замок вместе с прочими, как было приказано; но так как вы не отправились, мистер Мильдмей, то уж позвольте мне сделать из вас то самое употребление, которое вы так остроумно предлагаете сделать из меня.

Жизнь моя здесь еще несколько важна, но ваша нисколько, и на место ваше сейчас пришлетя другой мичман с фрегата, стоит только приказать: поэтому сдайтесь пожалуйста за корму, и служите мне грудною защитой.

– Слушаю-с, как прикажете, – отвечал я, и тотчас занял свое место.

– Теперь, – сказал капитан: – ежели тебя повалят, я возьму тебя к себе на плечи.

Я изъявил ему величайшую мою благодарность не только за честь, которую он перед тем предложил мне, но и за ту, какую хотел еще обязать меня; впрочем, надеялся, что мне не придется беспокоить его.

Сжалился ли неприятель над моею молодостью или с намерением не попадал в нас, я не могу сказать, но только знаю, что считал большим счастьем, когда увидел себя внутри замка с целой кожей, и с удовольствием согласился бы тогда на всякую, предложенную мне перемену, даже на возвращение к удобству и приятностям мичманского кубрика на военном судне. Правду говорят, что ко всякому состоянию человека можно приискать еще худшее, и ничто не убедило меня в этом так сильно, как все случившееся в незабвенные дни этой осады.

Счастье и давно известная трусость испанцев избавили меня от этих опасностей. Они сдали цитадель, после чего замок сделался не надобен. Мы все побежали к нашим шлюпкам со всевозможной скоростью, и несмотря на очень деятельный огонь стрелков с холма, возвратились на фрегат благополучно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.